

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

ЦК ВЛКСМ

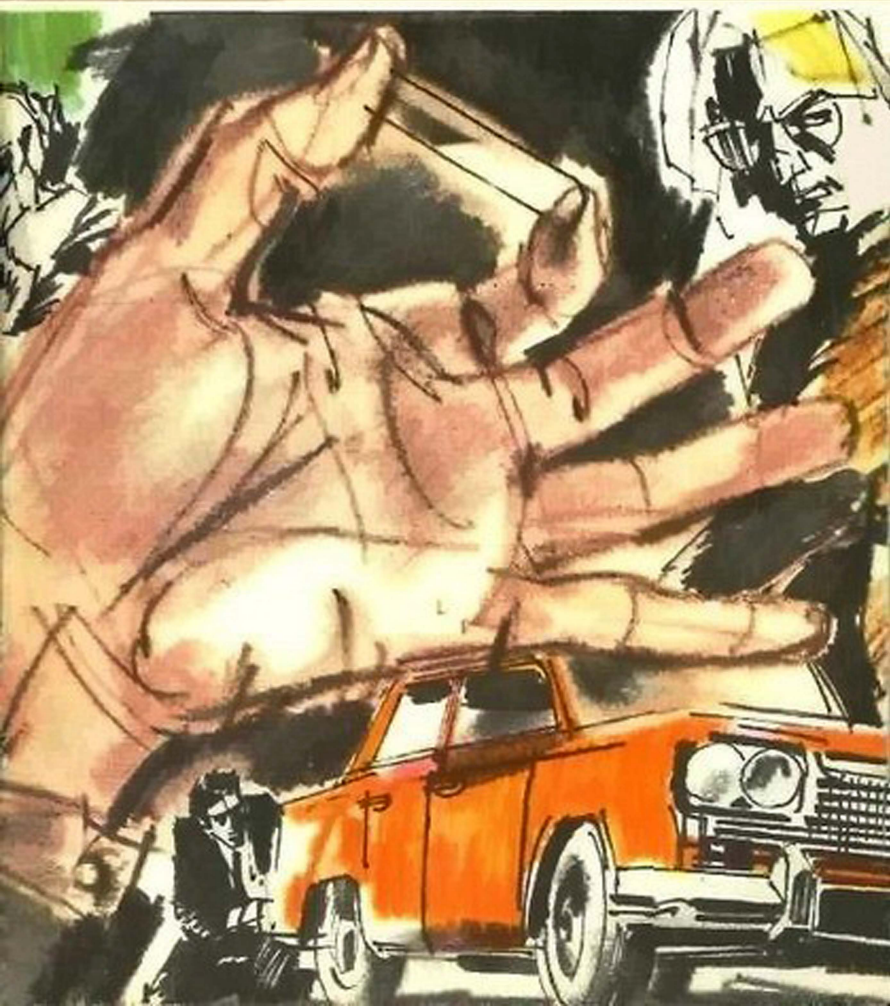
ВОКРУГ  СВЕТА

**И**

**скаатель**

**1**

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1976





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ  
ЦК ВЛКСМ  
ВОКРУГ ГЛОБУСА  
**И** **Искатель**  
ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1976

## СОДЕРЖАНИЕ

- Братья ВАЙНЕРЫ — Лекарство против страха 2  
Артур КЛАРК — Встреча с медузой . . . 116  
А. С. ТАББ — Последние из гробовщиков 153

№ 91

ШЕСТИНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



Рисунки Г. НОВОЖИЛОВА

# ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА

*Роман*

## ГЛАВА 1

**М**еня зовут Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.  
— У вас красивое имя, — сказал он.  
— Да. Но чаще меня называют Парацельсом. И я считаю это правильным, потому что в искусстве врачевания я уже давно превзошел великого латинянина Цельса.

— А от каких болезней вы исцеляете? — спросил он, и в его прищуренных серо-зеленых глазах не было недоверия — хамского сомнения невежд, а светилось лишь искреннее любопытство.

— Я освобождаю человека от мук, ниспосланных ему водяной, проказой, лихорадкой, подагрой, тяжкими ранами и болезнью сердца...

— У вас есть помощники?

— Разум мой, и опыт, да сердце, скорбящее о страждущих в мире сем.

— Вы одиноки?

Я засмеялся.

— У меня нет детей, нет жены и друзей не осталось. Но разве все люди не со мной? Разве благодарность пациентов не согревает мое сердце? Разве ненависть завистников — лекарей ничтожных и корыстных аптекарей — не угнетает мою память? И сотни учеников разве не связали меня с тысячами неведомых мне людей благодатью моего учения?

— Вы богаты?

Я показал ему на стопку рукописей.

— Вот все мое богатство. Да старый конь на конюшне. И меч

ржавый в ножнах. А сам я живу здесь в немощи и кормит меня из дружбы и милости последний мой товарищ и ученик — цирюльник Андре Вендль.

— Но говорят, будто вам известны методы превращения простых металлов в золото? Почему вы не обеспечите себя и не поможете единственного своего друга Вендля?

— Я, Парацельс, действительно великий алхимик и маг, и при желании достопочтенный господин может легко разыскать людей, которые собственными глазами видели, как я вынимал из плавильной печи чистое золото. Но господь сподобил меня великому знанию врачебной химии, и, когда я получил в своем тигле лекарства, которые исцелили обреченных на смерть людей, я понял, что это знамение, ибо щепоть моего лекарства могла дать человеку больше, чем все золото мира, — тогда я дал обет не осквернять потной жадностью святой очаг мудрости.

— А как вы сюда попали?

— Я вышел из своего дома на Платцле, перешел по подвешенному мосту через Зальцах, дошел до Кайгассе и потерял на улице сознание. Очнулся я уже здесь, в гостинице «У белого коня»...

— А как вы себя чувствуете сейчас?

— Мой разум, чувства и душа совершенно бодры. Но у меня нет сил пошевелиться. Энтелехия — тайная жизненная сила, открытая и утвержденная мной, — неслышно покидает меня.

Вошел служитель, поставил на стол кружку сквашенного молока и печенье.

— Почему вы не принесли еды для моего гостя? — строго спросил я служителя, но гость торопливо сказал:

— Благодарю вас, не беспокойтесь, я совсем недавно обедал. Да мне уже и собираться пора. Приятного аппетита, а я пойду, пожалуй...

— Счастливого вам пуги. А как вас зовут?

— Станислав Тихонов.

— Приходите еще, нам найдется о чем поговорить.

— Безусловно. А над чем вы работали последнее время?

Сначала мне не хотелось говорить, но у него было очень симпатичное лицо, он не мог быть шпионом, у него лицо честного человека. У него любопытные и в то же время немного грустные глаза. И я сказал ему:

— Я создал лекарство против страха...

## СТЕНОГРАММА ОБЪЯСНЕНИЯ УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА КАПИТАНА МИЛИЦИИ А. Ф. ПОЗДНЯКОВА В ИНСПЕКЦИИ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МОСКВЫ

«...Вопрос: Когда вы пришли в себя?

Ответ: В воскресенье утром.

Вопрос: Где именно?

Ответ: В медвытрезвителе номер три.

Вопрос: Сообщили ли вы сразу сотрудникам медвытрезвителя, кто вы такой?

Ответ: Нет, я назвал себя и место работы после того, как

выяснилось, что у меня пропали пистолет и служебное удостоверение.

Вопрос: Почему?

Ответ: Не знаю, я плохо соображал, у меня сильно болела голова.

Вопрос: Не могли ли вы потерять пистолет и служебное удостоверение по дороге от стадиона до сквера, где вас подобрал в нетрезвом виде экипаж патрульной машины?

Ответ: Нет, нет, нет! Я не был в нетрезвом состоянии!

Вопрос: Вот заключение врача: «Сильная стадия опьянения с потерей ориентации во времени и пространстве...» Вы полагаете, что врач мог ошибиться?

Ответ: Не знаю, не знаю! Но пьяным я не был!

Вопрос: Хорошо, расскажите снова, как вы попали на стадион?

Ответ: В пятницу был финал кубка, играли «Спартак» и «Торпедо». Матч начинался в шесть часов. Я болельщик, очень люблю футбол и хожу на все интересные матчи, а тут всю неделю дел было невпроворот, и я не успел заранее купить билет. Я понадеялся купить билет около стадиона. Походил около касс, вижу — надежды никакой, билетов совсем нет, а желающие толпами снуют. Тут подходит ко мне какой-то гражданин и говорит: «Слушайте, у меня есть лишний билет, но я просто боюсь его доставать из кармана: эти фанатики меня на части разнимут. Идите со мной, я вам у входа оторву билет, а вы мне потом отдадите деньги». Ну, поблагодарил я его, конечно. Оторвал он билет: у него их было два, он объяснил, что товарищ не смог прийти, отдал я ему рубль. А жара стояла больше тридцати градусов. Минут за пять до перерыва между таймами он мне говорит: «Подержите, пожалуйста, мое место, чтобы никто не уселся, а я сбегаю займу очередь в буфет — пивца хлебнуть». Скоро он вернулся и принес мне бутылку пива и бутерброд с колбасой. Я его, естественно, поблагодарил за такую внимательность, а он мне говорит, что есть латинская поговорка — не могу вспомнить, как он это сказал, и перевел: кто, мол, дал однажды, тот даст и дважды. Выпил я эту бутылку пива, поговорили мы маленько про футбол. И чувствую я, что от пива совсем у меня жажда не прошла, а даже еще сильнее пить захотелось. Жарко невыносимо, голова начала кружиться, все перед глазами зелено и круги плывут. Хочу соседу сказать, что сомлел я на жаре и голоса своего не слышу. Все заплясало в голове и больше ничего не помню...

Вопрос: Пивная бугылка была закупорена или открыта?

Ответ: Не помню.

Вопрос: Что значит «не помню»? Вы открывали бутылку?

Ответ: Не помню, не могу сейчас сказать.

Вопрос: Доводилось ли вам когда-нибудь встречать ранее этого человека?

Ответ: Нет, никогда.

Вопрос: Запомнили вы его?

Ответ: Плохо. Лет ему на вид около тридцати пяти.

Вопрос: Сможете ли вы отработать его портрет на фотороботе?

Ответ: Попробую, хотя не уверен. У меня до сих пор в голове все кружится.

Вопрос: В случае встречи с этим человеком беретесь ли вы с уверенностью опознать его?

Ответ: Думаю, что смогу.

Вопрос: Есть ли у вас какое-либо объяснение случившемуся?

Ответ: Нет, никак не могу я этого объяснить.

Вопрос: Но вы понимаете, что, если все в действительности было так, как вы рассказываете, значит, вас хотели отравить?

Ответ: Не знаю, хотел ли он меня отравить, но я ведь всю правду рассказываю! Дочерью своей клянусь...»

Я положил на стол листы стенограммы, а Шарапов поднял вверх палец:

— Вот именно — отравить хотели! Почему?

Я пожал плечами:

— Можно ведь и по-другому спросить — зачем?

— Какая разница! — махнул рукой Шарапов.

— Разница, мне кажется, существует, — усмехнулся я. — В «почему» есть момент законченности, вроде акта мести. А «зачем» — это только начало каких-то предстоящих событий.

— Не занимайся словоблудием, умник. Лучше подумай обо всей это петрушке: тут есть над чем мозги поломать.

— Это уж точно. Но у меня бюллетень не закрыт, я еще болен.

— А тебе что — открывая бюллетень, мозги отключают? Я ведь тебе не работать, а думать пока велю!

— С вашего разрешения, товарищ генерал, я бы об этой истории думать не хотел...

Шарапов сдвинул очки на лоб, внимательно посмотрел на меня, медленно произнес:

— Не понял?..

Я поерзал, повертелся на стуле, потом собрался с духом:

— Ну как же не понимаете? Вы поручаете мне расследование по делу моего товарища...

— А ты что, знаешь Позднякова?

— Да, конечно, не знаю — сегодня первый раз его фамилию услышал. Но это ведь не имеет значения, мы с ним воленс-неволенс товарищи. И мне надо будет провести служебное расследование именно потому, что начальство само не знает — правду говорит Поздняков или все это дурацкий вымысел...

Генерал откинулся на спинку кресла, уселся поудобнее, сдвинул очки обратно на нос, прищурившись, внимательно поглядел на меня:

— Говори, говори, красиво излагаешь...

— А чего там еще говорить? Вы же знаете, я никогда ни от каких дел не отказываюсь. Но там я жуликов на чистую воду вывожу, а тут мне надо будет устанавливать — не жулик ли мой коллега. И мне от этого как-то не по себе...

Шарапов невыразительно, без интонаций спросил:

— А отчего же тебе не по себе?

— Ну как отчего? Вы же знаете, что зелье это не только монахи приемлют! Скорее всего выяснится, что Поздняков безо



всякой отравы — по жаре-то такой — принял стопку-другую с пивцом и сомлел, а пистолет просто потерял. Позднякова — под суд, Тихонову — благодарность и славу к репутации...

Шарапов покачал головой, добро сказал:

— Хороший ты человек, Тихонов. Во-первых, добрый: понимаешь, что со всяким в жизни может такое случиться. Во-вторых, порядочный: не хочешь своими руками товарища под суд сдавать. Ну и, конечно, бескорыстный: сам ты орден получил недавно, теперь другим хочешь дать отличиться. Ну а то, что Поздняков сейчас по уши в дерьме завяз, так это же не ты его туда загнал. Ты вообще о нем раньше не слыхал. Неясно только, сам он попал в дерьмо или его туда, не добив до смерти, бросили? Так это уж подробности — стоит ли из-за этого ломаться, рисковать репутацией хорошего парня и верного товарища? Лучше пусть Поздняков урок извлечет, на стадион больше не ходит...

— Вас послушать, так это меня надо под суд отдать.

— Под суд я бы тебя не стал отдавать, поскольку и мне пришлось бы сесть на скамейку рядом. Потому что и я грешен, обо всем таком думал, о чем ты мне тут застенчиво лепетал. И должен тебе сказать, что мыслишки у нас с тобой вполне поганенькие...

— Почему?

— Потому что, если бы ты знал, что Поздняков говорит правду, ты бы с удовольствием занялся этим делом. А боишься ты, что Поздняков врет!

— Допустим.

— Тут и допускать нечего — все ясно. Боишься ты обмараться в этой истории и предпочел бы, чтобы лучше это сделал я. Кадровики как-нибудь разберутся, я приму решение, а ты Позднякова раньше не знал и впредь не узнаешь... Правильно я говорю?

— Ну, вроде...

— Вот-вот. Только не учитываешь ты, что и я больше всего боюсь: Поздняков мог правды не сказать и начал выпутываться с помощью этой легенды, и оставить для себя хоть тень сомнений в этом вопросе я не могу...

— А претворить эти тени в свет должен я?

— Да. Если Поздняков лжет, нам это надо знать, потому что его пребывание среди нас становится опасным. В этом качестве он сам становится потенциальным преступником. Но если история — правда, то мне это тем более надо знать наверняка: мы имеем дело с исключительно дерзким негодяем, которого надо поскорее выудить на солнышко. И это ясно как день. Понял?

— Чего уж не понять. Непонятно мне только, почему это должен делать именно я...

— Объяснять — долго получится. Так надо. Действуй...

## ИНСПЕКЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

«Протокол объяснения по материалам о происшествии с участковым инспектором ПОЗДНЯКОВЫМ А. Ф.

«. . .» сентября 197. . . года.

Гр-ка ЖЕЛОНКИНА Анна Васильевна, анкетные данные в деле имеются.

По существу заданных мне вопросов могу заявить следующее:

Поздняков Андрей Филиппович — мой муж. Мы состоим в зарегистрированном браке, от которого имеем дочь Дарью двадцати двух лет. Взаимоотношения в семье нормальные. Алкоголем мой муж Поздняков А. Ф., насколько мне известно, не злоупотребляет. Ничего о служебной деятельности мужа я не знаю, в быту он ведет себя нормально. О происшествии на стадионе мне известно со слов мужа, и добавить к сказанному им я ничего не могу. Никаких предположений о причинах происшедшего не имею.

Записано с моих слов правильно и мною прочитано.

ЖЕЛОНКИНА А. В.»

Я открыл личное дело инспектора Позднякова и взмахом картонного переплета будто постарался отгородиться от неприятного ощущения соглядатайства, которое мучило с того момента, как мое участие в расследовании было решено окончательно. Объяснить это чувство постороннему человеку вразумительными словами, понятно и четко, я никогда не смог бы. А своим — тем, с кем я годами встречался в МУРе, в райотделах или отделениях милиции, — ничего и объяснять не понадобилось бы, поскольку связаны мы пожизненно железной присягой товарищества, которое является для нас условием, профессиональной необходимостью нашей работы. Те люди, что подпали под мое определение «свои», были очень разными: хорошими и неважными, щедрыми и жадными, сговорчивыми и склочными, умными и бестолковыми. Но вместе с ними приходилось сидеть в засадах, брать вооруженных преступников, выковыривать из тайников клады жуликов, стоившие больше зарплаты милиционера за весь срок его службы, а также необходимо было годами коротать обыденную тягомотину розыска: дежурить, выезжать на происшествия, обращаться друг к другу, даже не будучи знакомыми, за тысячу важных служебных мелочей — и все это было бы невозможно без очень глубокого, порой даже не осознанного ощущения причастности к клану людей, уполномоченных всем обществом защищать его от нечестности во всех ее формах, и это товарищество стояло и стоять будет на вере в безусловную честность каждого его участника.

Поэтому было мне как-то муторно читать личное дело Позднякова, ибо вот эта самая вера в честность, да и особый характер милицейской работы освобождают нас от необходимости говорить о себе или о своих делах больше, чем этого тебе хотелось бы; хочешь — говори, не хочешь — никто тебе вопросов задавать не станет.

А сейчас от желания Позднякова поделиться со мною подробностями своей биографии ничего не зависело — Позднякова не спрашивали, а просто взяли его личное дело и дали капитану Тихонову для подробного ознакомления. И несокрушимой веры в честность Позднякова тоже больше не существовало. Я должен был полностью восстановить эту веру, которая в отвлеченных ситуациях называется красиво — честь. Или уничтожить ее в прах.

Непосредственный начальник Позднякова — заместитель начальника отделения милиции по службе Виталий Чигаренков — оказался старым моим знакомым: десять лет назад, поступив на работу, мы вместе проходили учебные сборы в «милицейской академии» — так называлась тогда школа подготовки в Ивантеевке. Десять долгих лет проработали мы в одной организации, но так велик город, и такие хлопотные дела нас крутили все время, что так нам и не довелось ни разу увидеться.

И сейчас мне приятно было взглянуть на него, потому что годы словно обежали его стороной — внешне Чигаренков изменился совсем мало, разве что заматерел немного, да на плечах вместо лейтенантских поблескивали новенькие майорские погоны, и я слегка позавидовал ему — и молодости, и служебным успехам.

Начинал он тоже сыщиком, но почему-то не удержался в розыске и перешел в службу. Кто-то из общих знакомых рассказывал мне, что с розыском у него не клеилось из-за детской доверчивости и твердого представления, что все на свете должно происходить по порядку и по правилам.

Еще в первые дни работы он стал известен благодаря нелепому происшествию, когда его обманил вороватый мальчишка, подозревавшийся в грабеже. Чигаренков предъявил на допросе воришке краденые часы «Победа», изъятые у его напарника. Папень сказал, что надо подумать. А поскольку крепких улик не было, отпустили его домой. На другой день он явился с паспортом на эти самые часы «Победа» и гордо заявил, что они его собственные: марка и номер сходятся. Потом уже «раскололи» мальчика, и выяснилось, что, пока Чигаренков отошел к телефону на соседнем столе, этот стервец успел подменить «Победу» со своей руки на вещдок, а потом и паспорт притащил.

Работал с тех пор Чигаренков в службе, но работой своей, похоже, был недоволен. Припомнив несколько любопытных эпизодов из совместной нашей ивантеевской жизни, Чигаренков сказал грустно:

— Вашему брату сыщику хорошо — работа интересная, лихая и к тому же довольно самостоятельная...

Я удивился:

— А чем твоя не самостоятельная? Ты же начальник! Какая тебе еще самостоятельность нужна?

— Я не про то, — сказал с досадой Чигаренков. — Вся моя самостоятельность умещается на одной странице инструкции об организации постовой и патрульной службы на подведомственной территории.

— Ну и что? Я помню, у тебя там, в инструкции, записано, что ты не только можешь, но и обязан проявлять творчество, разумную инициативу и, как это — во! — «развивать подобные качества у подчиненных».

— Обязан, — Чигаренков склонил голову с ровным, по ничтожке, проборм. — Я много чего могу и обязан. Например, непрерывно управлять несущими службу нарядами, осуществлять необходимые маневры на участках с напряженной обстановкой, распоряжаться транспортом, контактировать с народными дружинами и так далее и тому подобное.

— Но ведь это совсем немало и по-своему интересно, — сказал я. — И опять же, руководящий состав...

— Так кто бы спорил, интересно. — Чигаренков встал, прошелся по кабинету и сказал неожиданно: — Но я ведь сыщиком быть собирался. Разработки, комбинации, личный сыск... Понимаешь?

— Хм, отсюда, из твоего кабинета, это выглядит довольно заманчиво. Побегай вот с мое, — сказал я. — Что же ты сыщиком не стал?

Чигаренков смущенно помялся:

— Я ведь сначала в розыске работал. Но то ли не повезло, то ли, как говорится, «не обнаружил данных». Знаешь, как это бывает...

— Не совсем, — неуверенно пробормотал я.

— Эх, не повезло мне. Я вот помню случай — бани у меня были на участке, женские. Одно время заворовали их совсем — то вещи, то ценности из карманов — тащат, не приведи бог. Я разработал план, всех причастных по этому плану проверяю. Сотни две женщин допросил — ничего! Является тут одна курносая, щечки розовые, вся такой приятной наружности — дворничиха, в Москве года два, сама из деревни. Я, конечно, хоть и со скукой, но допрашиваю, потому что план есть план, и его надо выполнять. А за соседним столом работал Федя Сударушкин, его ввиду пенсионного возраста на злостных алиментщиков перебросили. И вдруг поднимает он голову и ни с того ни с сего: «Гражданочка, выйдите-ка в коридор на минуту!» Курносая выходит, значит, я — ему: «Ты что, Федя, с ума сошел? С какой стати ты ее выслал?» А он говорит: «Голову мне оторви, коли не она это в банях шурует!» В общем, долго рассказывать не буду, только оказался Федя прав — она. Я потом недели две все у него допытывался — откуда он узнал? А Федя клянется чистосердечно: «Да не знал я, Виталик, истинный крест, не знал! Вот почувствовал я ее сразу, нюх у меня на воров есть». Конечно, нюх появится, когда он тридцать лет отработал, а я три месяца...

Чигаренков расхаживал по кабинету, поскрипывая сверкающими сапогами, поблескивая всеми своими начищенными пуговицами, значками, медалями, и на свежем молодом лице его плавало недоумение.

— Я ведь не спору — «проколы» были, и этот вот, и еще кое-что. Так ведь опыта не хватало, а работать-то я хотел! Дни и ночи в отделении торчал. Только никто на это внимания не обратил, а наоборот, вызвал меня как-то зам по розыску. Длиннов был у нас такой, Вась-Вась мы его звали. Ехидный мужик был — ужас. Ну и давай с меня стружку снимать, да все с подковырочкой... — Давняя обида полыхнула ярким румянцем на лице Чигаренкова, подсушила полные, сочные губы, сузила зеленые глаза. — Я психанул, конечно...

— Это ты напрасно, — заметил я. — Надо было все объяснить толком, просить в настоящем деле тебя попробовать.

— То-то и оно, — уныло согласился Чигаренков. — А я вгоряча-то, раз так, говорю, перейду в наружную службу, меня давно зазывают, и квартиру обещали...

Слушал я его и совсем ему не сочувствовал, потому что со стороны-то мне было виднее, как точно, как правильно и хорошо сидит на своем месте Виталик Чигаренков — именно на своем. Мы разговаривали, а на столе звонили телефоны, в кабинет входили сотрудники Чигаренкова, и он в коротких промежутках нашего разговора отдавал им ясные, четкие распоряжения, логичные и, наверное, правильные, потому что воспринимались они на лету, как это бывает в надежно и прочно сработавшемся коллективе.

Пока мы толковали, я прослушал несколько подряд его разговоров с подчиненными, и по их репликам, дружелюбным и уважительным, я видел, что он здесь в полнейшем авторитете. И я с неожиданной грустью подумал о несовершенстве механизма человеческого самопонимания, при котором виртуозы-бухгалтера втайне грустят о своей несостоявшейся судьбе отважного морехода, гениальные портные жалеют об утраченной возможности стать журналистами, а видные врачи-кардиологи считают, что их талант по-настоящему мог расцвести только на театральных подмостках, — профессьон манке, пренебреженное призвание. И стороннему человеку порой смешно наблюдать, как они ощущают себя жертвами своего «пренебреженного призвания», в котором, им кажется, они явили бы миру невиданные образцы талантливости и профессионализма.

Слепому видно, что Виталика Чигаренкова привело на его работу доброе провидение, именно на его должности требуются эти доведенные до совершенства аккуратность, четкость, точность — качества, очевидно сочетавшиеся в нем с врожденной способностью организовывать, приказывать, руководить. И он руководил идеально налаженным им самим аппаратом — естественно и непринужденно, пооткровенничав лишь со старым товарищем об утраченном призвании сыщика, призвании, которого скорее всего в нем не было, потому что, я уверен, сыщиком, как и шофером, и художником, и певцом, надо родиться. В его словах мне отчетливо была слышна обида на то, что жулики его обманывали. Так ведь на то они и жулики, обманывать — это необходимо по правилам их игры, им волей-неволей приходится ловчить, хитрить, делать ложные ходы и напяливать разные маски — прямодушных и чистосердечных жуликов не бывает, это, как говорит наш эксперт Халецкий, «противоречие в объекте». А он никак не мог согласиться с тем, что поступки людей иногда противоречат логике, а мотивы их нестандартны. Он хотел, чтобы все происходило по правилам, по закону, по порядку, и невдомек ему было, что сыщик как раз там и обнаруживает свое призвание, где происходят беззаконие, беспорядок, нарушение правил...

— Я говорю заму по розыску: обратите внимание на ребят из дома семь — безобразничают! А он со мной спорит — пусть, говорит, гуляют, пусть радиолы на весь дом крутят. Пусть, говорит, цветы в клумбе топчут. Лишь бы не воровали! Вот тебе узковедомственный подход, «психология». Я этого не понимаю...

«Поэтому он зам по розыску, а ты по службе», — подумал я и сказал:

— Просто вам надо объединить воспитательные усилия. Я, знаешь, прочитал недавно в одном журнале: «Стратегическая

цель воспитания — формирование счастливого человека». Эти ребята из дома семь понятия счастья еще не осознали.

— А я не отказываюсь, — миролюбиво сказал Чигаренков. — Я и так всех воспитываю. Отдельных граждан с обслуживаемой территории. Анку, дочку свою. Супругу исключаю — она сама кого хочешь воспитает, финансист она у меня...

По тону, каким Виталий отозвался о супруге, я догадался, что эта тема может нас завести довольно далеко. Поэтому я спросил торопливо:

— А с подчиненными как?

Чигаренков подошел к шкафу, достал из него толстую тетрадь в клеенчатом переплете и отрапортовал:

— Первейшая моя обязанность. Я должен знать и воспитывать личный состав в духе строгого соблюдения законности, высокой дисциплины и добросовестного выполнения служебного долга!

Я улыбнулся:

— И что, получается?

— Конечно, получается, — без тени сомнения сказал Чигаренков. — Я тут по совету одного знаменитого педагога — фамилию, жалко, забыл — на своих людей психологические характеристики для себя составляю. Ну для памяти, в порядке индивидуального подхода, одним словом. Глянь. — И он протянул мне тетрадь.

Я с интересом полистал тетрадь, заполненную каллиграфическим, неторопливым, как будто отпечатанным, почерком, удивительно верно представлявшим своего автора прямоотой, аккуратностью и отсутствием колебаний.

«Уч. инспектор Выборнов. Добр, но вспыльчив, имеет слабость жениться. Честен до мелочи...»

«Уч. инспектор Снетков. По характеру холоден и надменен. Не пьет. Обещания выполняет...»

«Уч. инспектор Маркин. Любезен, вежлив. Живчик. Двигается быстро, а взгляд косой».

«Уч. инспектор Ротшильд. Холостой. С завода по путевке. Компанейский парень. Весельчак. Прозван «Валя-девчатник».

«Командир взвода Форманюк. Скромн, тих, неразговорчив. Разводит птиц...»

«Уч. инспектор Поздняков. Старослужащий. Исполнителен. По характеру суров, требователен. Нет чувства юмора...»

Я положил тетрадь на стол, подождал, пока Чигаренков отпустит очередного посетителя.

— Капитально задумано, Молодец.

Чигаренков довольно заулыбался.

— Да, кстати, о Позднякове. Перебои у него, значит, с юмором?

— Перебои, — подтвердил Чигаренков. — Тут однажды Ротшильд пошутил что-то насчет его внешности, так он с ним полгода не разговаривал. Не говоря уже об анекдотах — все отделение животики может надорвать, а Поздняков и не улыбнется.

— А зачем тебе, собственно говоря, его чувство юмора? Он ведь у тебя на другой, кажись, должности?

— А как же? — удивился Чигаренков. — Я, как руководитель, должен это его качество учитывать. А то поговоришь с

ним «с подковырочкой», как со мной Длиннов Василий Васильевич когда-то, и хорошего сотрудника лишишься!

— Значит, сотрудник он хороший?

— Хороший не то слово. Я на его участок год могу не заглядывать.

— Так-так. Чем же тогда ты можешь объяснить эту историю с ним? Странно как-то получается.

Чигаренков задумался. Потом, приглаживая рукой и без того гладкий пробор, сказал:

— Странно, когда не знаешь, что произошло на самом деле. Понимаешь, Стас, он ведь, конечно, не ангел, Поздняков. В смысле — нормальный мужик и, как водится, имеет право в свободное время принять маленько. Но чтобы вот так, до бесчувствия... — Лицо Виталия перекосила брезгливая гримаса. — Нет, непохоже это на него. Ты не подумай только, что я «своего» под защиту беру. Если бы я узнал, что он в натуре так набрался, сам бы своей властью три шкуры с него спустил. Так что ты разберись по справедливости...

Я смотрел на его строгое точеное лицо с твердым волевым подбородком, поджатыми губами, странным образом выражавшее вместо строгости и твердости — мягкость и доброту, и думал, что, наверное, зря я столь ожесточенно отбрыкивался от предложения генерала, раз старослужащий Поздняков, мужик суровый и без чувства юмора, так нуждался в моей справедливости.

## ГЛАВА 2

Капитан Поздняков лицом был похож на старого матерого кабана, и я снова подумал о том, что участковый — человек малосимпатичный. Несколько лет назад приятели взяли меня на охоту, и мне болезненно-остро запомнилась здоровенная острая голова подстреленного кабана — вытянутое, обрубленное пяточком рыло, прищуренные красноватые веки с длинными белыми ресницами, под которыми плавал мутный зрачок, расширенный последней ужасной болью, все еще угрожающий, но уже совсем бессильный желтый оскал.

— Андрей Филиппыч, у вас враги есть? — спросил я.

— Наверное, — дрогнули белые ресницы. — За десять лет службы на одном участке и друзья и враги появляются: народу, считайте, тысяч двенадцать живет.

— Можем мы с вами наметить круг таких недоброжелателей?

— А как его наметишь, круг этот? Это только у плохого участкового два недоброжелателя — жена да теща! А мне за эти годы со многими ссориться пришлось — и самогонщиков ловил, и хулиганам укорот давал, и тунейдцев выселял, бежавших домой с отсидки за шиворот брал, за собак беспризорных штрафовал, к скандалистам на работу жаловался, пьяниц со дворов да из подъездов гонял, родителей плохих в милицию и исполком таскал. И воры попадались, и в обысках участвовал. Вот и выходит...

Поздняков замолчал, обиженно и горестно двигая своим ши-

роким ноздрястым носом, росшим, казалось, прямо из верхней толстой губы.

— Что выходит? — спросил я.

— Да вот как-то раньше никогда мне это в голову не приходило, а сейчас все время об этом думаю. Живет несколько тысяч хороших людей на моем участке, и, по существу, никто из них и знать меня не знает, потому что нам и stalkиваться ни в чем не приходится. А случилась сейчас со мной беда, и надо бы слово обо мне доброе сказать знающим меня людям, так выходит, что, кроме всякой швали, никто и не знает меня. А от швали мне слова хорошего не дожждаться.

Я покачал головой.

— Не согласен. Если хорошие люди вас не знают, значит, нормально службу несете, не даете их плохим в обиду. Ну ладно, оставим это. Объясните мне, пожалуйста, почему на стадионе у вас был с собой пистолет — вы же были не на работе и без формы?

— С войны привычка, и на службе осталась. Кроме того, я ведь и проживаю на своем участке, так что никакого времени дежурства у меня нет. В ночь, за полночь, что бы ни стряслось, бегут ко мне: «Давай, Филиппыч, выручай». А дела бывают самые разные — я вон трех вооруженных преступников в неслужебное время задержал...

— Значит, можно предположить, что многие знали о пистолете, который вы носите всегда при себе?

— Конечно! — участковый удивленно поднял на меня круглые рыжеватые глаза. — Я ведь представитель власти, и все должны знать, что у меня сила.

Я про себя ухмыльнулся — у меня были другие представления о силе власти, но ничего Позднякову говорить не стал.

— Чаю хотите? — спросил Поздняков.

— Спасибо, с удовольствием.

Чаю мне не хотелось, но я надеялся за чашкой чаю сделать наш разговор менее мучительно официальным.

Поздняков встал с дивана, на котором сидел он все время неестественно неподвижно, выпрямив длинную сухую спину старшего служивого, только на пятом десятке переползшего из старшин в офицеры и сохранившего от этого почтительную опаску перед всяким молодым начальством. Он пошарил ногой под диваном тапочки, не нашел их и, видимо, счел неудобным при мне ползать на коленях по полу; махнул рукой и пошел на кухню в одних носках. На пятке левого носка светилась дырка — небольшая, размером с двухкопеечную монету. Поздняков на кухне гремел чайником, туго звякнула о дно вода из крана, спички скреблись о коробок, шипели, не зажигаясь, и участковый негромко чертыхался. А я осматривался.

Из личного дела Позднякова я знал, что тот женат, имеет дочь двадцати двух лет — студентку. Жена, Анна Васильевна, на одиннадцать лет моложе Позднякова, старший научный сотрудник института органических соединений, кандидат химических наук. Образование Позднякова — семь классов до войны, после войны — школа милиции. И тут было над чем подумать даже не потому, что я не мог представить, хотя бы умозрительно, какой-то естественной гармонии в этой не очень обычной



семье, а потому, что порядок в комнате Позднякова был наведен не заботливой рукой хозяйки, а отшлифован твердой привычкой к казарменной аккуратности и неистребимой сержантской потребностью в чистоте. И маленькая, с двухкопеечную монету, дырка на носке.

Поздняков принес два стакана в металлических подстаканниках, сахарницу. Чайник он поставил на железную решеточку, снял крышку и угнездил сверху заварной чайничек. Немного посидели молча, потом Поздняков спросил:

— Вам покрепче?

Я кивнул, и Поздняков налил мне светлого, почти прозрачного чая. Мне стало интересно, каким же должен быть у Позднякова слабый чай, и сразу же получил ответ: в свой стакан участковый заварки вообще не налил.

— Берите сахар, — подвинул он мне сахарницу.

— Спасибо, я пью всегда без сахара.

Поздняков ложечкой достал два куска, положил их к себе на блюдце и стал пить кипяток вприкуску. Желтыми длинными клыками он рассекал кусок сахара пополам, одну половинку возвращал на блюдце, а вторую загонял за щеку и не спеша посасывал ее с горячей водой. При этом щека надувалась, губы вытягивались, рыжевато-белая щетина лица становилась заметнее, и он еще больше напоминал кабана — тощего, сердитого и несчастного.

— Дисциплины люди не любят, оттого и происходят всякие неприятности, — сказал Поздняков задумчиво. — А ведь дисциплину исполнять проще, чем разгильдяйничать, порядки, законы человеческие нарушать. Все зло на свете от разгильдяйства, от расхристанности, от того, что с детства не приучены некоторые граждане к дисциплине, к обязанностям в поведении — что самому по себе, что на людях.

— А жена ваша так же думает? — спросил я, и Поздняков вздрогнул: будто я неожиданно перегнулся через стол и ударил его под дых. От жары ли, от кипятка вприкуску или от этого вопроса, но лицо Позднякова разом покрылось мелкими, частыми капельками пота.

— Нет, наверное, не знаю, нет, скорее всего... — И больше ничего не сказал, а только начавшая завязываться беседа сразу увяла.

Я повременил немного и безразлично спросил, вроде бы между прочим:

— Вы с женой неважно живете?

Но это не получилось между прочим, и Поздняков тоже понял, что это вопрос не между прочим и отвечать надо на него обстоятельно, потому что старший инспектор с Петровки к нему зашел не чай распивать, а допрашивать. Как это ни называй — беседа, разговор, опрос, выяснение обстоятельств, а смысл остается один — допрос.

— Да не то это слово — «неважно». Если правильно сказать, мы вроде бы и не живем давно...

— Как это следует понимать?

— Ну как — проживаем мы в одной квартире, а семьи-то и нет. Давно.

— Сколько это «давно»?

— Столько уж это тянется, что и не сообразить сразу. Лет пять-семь. Здоровкаемся вежливо и прощамся, вот и вся семья. — И в голосе его не было строевой твердости, а только хинная горечь и усталость.

— А почему же вы развод не оформите?

— Ну разве тут объяснишь двумя словами..

— Тогда не двумя словами, а поподробнее, — сказал я и заметил в глазах Позднякова сердитый проблеск досады и подавленной неприязни. И, прежде чем он успел что-то сказать, я легонько постучал ладонью по столу: — И вот что: мы с вами уже говорили об этом, когда я только пришел. Я хочу повторить — вы напрасно сердитесь на меня, я вам эти вопросы задаю не потому, что мне очень интересны ваши взаимоотношения с женой, а потому, что произошло событие из ряда вон выходящее, и все, что имеет к этому мало-мальское отношение, надо выяснить...

— Да уж какое это может иметь отношение? Я ведь и сам кое в чем малость кумекаю — не первый год в милиции..

— Я и не сомневаюсь в вашем опыте, но ни один врач сам себя лечить не может.

— Это верно, — покачал острой головой Поздняков. — Особенно если больному нет большой веры — действительно больно ему, или он прикидывается.

Я побарабанил пальцами по столешнице, посмотрел на Позднякова, медленно сказал:

— Давайте договоримся, Андрей Филиппыч, не возвращаться больше к вопросу о доверии к вам. Вы ведь не барышня в парке, чтобы я вам каждые десять минут повторял о своей любви и дружбе. Скажу вам не лукавя: история с вами произошла просто фантастическая, и я к вам пришел, желая доказать вашу невинность. Поэтому мне изо всех сил хочется верить всему, что вы рассказываете. Укрепить мою веру или рассеять ее могут только факты. Вот и давайте их искать вместе. А теперь вернемся к вопросу о вашей семье..

— У меня жена хороший человек. Женщина самостоятельная, строгая.

— А из-за чего ссорились?

— Да не ссорились мы вовсе. Она меня постепенно уважать перестала — я так себе это думаю. Стесняться меня стала.

— Чем вы это можете объяснить? — задавал я бестактные, неприятные вопросы, и по лицу Позднякова видел, какую сейчас боль ему доставляю, и боль эта была так мне понятна и близка, что я закрыл глаза — не видеть потное, бледное лицо Позднякова, не сбиваться с ритма и направления вопросов.

— Так ведь она сейчас стала большой человек, можно сказать, ученый, а муж — лапоть, унтер Пришибеев, — тихо сказал он, сказал без всякой злости на жену, а словно взвешивал на ладонях справедливость своих слов. Он даже взглянул мне в глаза, неуверенный, что я его слышу или правильно его понял, горячо добавил: — Вы не подумайте там чего, оно ведь так и есть.

— Давно наметились у вас такие настроения в семье?

— Ей-богу, не знаю. Наверное, давно. Тут ведь как получилось? Когда познакомились, работала она аппаратчицей на хим-

заводе, двадцать лет этому почти. Уставала она ужасно, но все равно ходила в школу рабочей молодежи. За партой, случалось, засыпала, а школу закончила и поступила в Менделеевский институт. Работала и училась все время — пока вдруг не стало ясно: она человек, а я...

— А куда вы бутылку дели? — спросил я неожиданно.

Поздняков оторопело взглянул на меня:

— К-какую бутылку?

— Ну, из-под пива, на стадионе, — нетерпеливо пояснил я.

— А-а... — Поздняков напряженно думал, пшеничные кусти-  
стые брови совсем сомкнулись на переносице, лицо еще больше  
покрылось потом. — В карман, кажется, засунул, — сказал он  
наконец, и в тоне его были удивление и неуверенность. — На-  
верное, в карман, куда еще... Но ведь ее в кармане не нашли  
потом?..

Я оставил его вопрос без ответа, помолчав немного, сказал:

— Постарайтесь припомнить, вы бутылку сами открывали?

— Пожалуй... — Поздняков снова задумался, потом оживил-  
ся, вскочил. — Пожалуй! Зубами я ее, кажись, открыл. Вот мы  
посмотрим сейчас, может, пробка в пиджаке заваялась.

Он быстро подошел к вешалке и, снимая с нее поношенный  
пиджак из серого дешевого букле, бормотал:

— Ведь под лавку я ее не кину, пробку-то? Не кину. Значит,  
в карман...

— Давайте я вам помогу, — сказал я.

Мы расстелили пиджак на столе, тщательно осмотрели его,  
вывернули карманы, ощупали швы. В левом кармане сатиновая  
подкладка совсем посекалась, и нитки ткани образовали сеточку.  
Я засунул в дырку палец и стал шарить в складке на полах  
пиджака, прощупывая каждый сантиметр между букле и сати-  
ном. Уже на правой доле, с другой стороны пиджака, я нащупал  
шероховатый неровный кружок. Погихоньку двигая его к дыр-  
ке, вытащил на свет — кусочек плоской пробки, коричневый,  
с прилипшим к нему ворсом. Прокладка под металлические пла-  
стинки, которыми закупоривают пивные бутылки...

— Не торопите меня, Тихонов, это дурной тон, — сказал Ха-  
лецкий спокойно.

В лаборатории было почти совсем темно, окна плотно зашто-  
рены, и только одинокий солнечный луч, ослепительно яркий,  
разрезал комнату пополам и бликами падал на золотые дужки  
очков, когда Халецкий по привычке покачивал головой...

Я сказал ему:

— Результаты экспертизы мне обязательно нужны к завтраш-  
нему утру.

— Почему такая спешка? — удивился Халецкий.

— Ну, знаете, есть старая поговорка: «Береги честь пуще гла-  
за». А тут разговор как раз идет об этом самом...

Халецкий покачал головой, и мне показалось, что он усмех-  
нулся.

— Тихонов, вы же учились в университете, помните свод зако-  
нов вавилонского царя Хаммурапи?

— Ну и что?

— Там прямо сказано, что врач, виновный в потере пациентом глаза, платится своими руками. А здесь ведь при спешке можно сделать ошибку, и ваш пациент потеряет не только глаз, но и честь, которую беречь надо еще пуще.

Халецкий развернул белый конверт, извлек пинцетом кусочек пробки, внимательно посмотрел на него в луче солнца, падавшем из-за штор.

— Что вы намерены делать с ним?

— Микрохимический анализ, используем флуоресценты. Не поможет, посмотрим рентгенодифракцию. Что-нибудь да даст результаты. Наука имеет много гитик, — засмеялся он.

— Вы думаете, что из этой пробочки еще можно что-нибудь выжать? — спросил я с надеждой.

— Кто его знает, попробуем. Алкоголики утверждают, что из самой пустой бутылки всегда можно выдавить еще сорок капель. Нам из этой пробочки хотя бы одну сороковую часть капли выдавить, и то было бы о чем говорить...

Лаборатория казалась единственным прохладным местом на всей земле, и отсюда очень не хотелось уходить. Халецкий как будто понимал это и не торопил меня. Он повернулся ко мне, и снова солнечный блик рванулся с золотой дужки его очков. Глаз Халецкого мне не было видно, но я знал, что он внимательно смотрит на меня.

— Ну, Тихонов, а что вы думаете об этом деле?

— Не знаю, — я пожал плечами.

Халецкий спросил:

— Вы считаете, что Поздняков говорит правду?

— Не знаю, ничего я не знаю. Вам ведь известно, милиционеры, как и все прочие граждане, не святые, и среди них всякое бывает. Хотя не хочется в это верить.

Все-таки инспектор Поздняков ошибался, когда говорил мне, что знает его только шваль и шушера. Нашлось кому и доброе слово сказать. Хвалебных гимнов ему не слагали, но добрые слова были сказаны и в ЖЭКах, и жильцами в домах, и в отделениях милиции, где он служил.

Я воспользовался советом Чигаренкова, который сказал:

— Если бы меня спросили, я бы посоветовал поднять всю документацию Позднякова — посмотреть, кого он мог в последнее время особенно сильно прищучить.

Вот я часами и читал накопившиеся за годы бесчисленные рапорты, докладные, представления, акты и протоколы, составленные Поздняковым. Читал, делал в своем блокноте пометки и размышлял о том чудовищном котле, в котором денно и ночью варятся участковые. Этим я занимался до обеда. Во вторую половину дня ходил по квартирам и очень осторожно расспрашивал об инспекторе. Работа исключительно нудная и совсем малопродуктивная. Но это была одна из версий, а я привык их все доводить до конца — не из служебной добродетельности, а чтобы никогда не возвращаться назад и не переделывать всю работу заново.

И отдельно я читал жалобы на Позднякова от граждан. Оказывается, на участковых подают довольно много жалоб,

А потом говорил с Поздняковым, и снова читал пожухшие бумажки, и опять расспрашивал граждан...

... — Культурный человек, сразу видно, со мной всегда первый здоровается...

... — Зверь он лютый, а не человек...

... — Мужчина он, конечно, правильный, завсегда тверезый, строгий...

... — Естественно, на денюжаты левые у него нюх, как у гончей...

... — Кашей паршивый, он мужа маво, Федюнина Петра, кормильца, на два года оформил...

... — А на суде потом ни слова о том, что Петька Федюнин с ножом на него бросался — семью, понятно, жалел, детей ведь там трое...

... — Не место в милиции такому держиморде — он моему мальчику руку вывихнул.

... — Соседский это мальчонка. Было такое дело. Они с приятелем в подъезде женщину раздевать стали. В мальчонке-то два метра роста...

... — Ну как не пьет? Пьет, он у меня на свадьбе дочери пил. Как человек пьет...

... — Человек он необщительный, понять его трудно. Он ведь одинокий, кажется?..

... — И если Поздняков не прекратит терроризировать меня своими угрозами, я буду вынужден обратиться в высшие инстанции...

... — Дисциплинирован, аккуратен, никакого разгильдяйства...

... — Одно слово — лешак! Дикая человек. С ним как в считалочке у мальцов: пама-мама-жаба-цапа! Я, может, пошутить хотел, а он меня цап за шкурку и в «канарейку»...

... — Вместо того чтобы задержать по закону самовольно убежавшего с поселения тунеядца, участковый Поздняков дал ему возможность безнаказанно улигнуть, несмотря на наше заявление...

— Чего же вы, Андрей Филиппыч, не задержали по закону тунеядца? — спросил я Позднякова.

Он растерянно покачал головой:

— По закону, конечно, надо было...

— Но все-таки не задержали?

— Не задержал.

— А что так?

— Ну, закон-то ведь для всех. Он хоть и закон, но не бог все-таки, каждого в отдельности увидеть не может. И строгость его для блага построена — я это так понимаю.

— А в чем было благо тунеядца? То, что закон не предусмотрел?

Поздняков задумчиво поморгал белыми ресницами, пожевал толстую верхнюю губу, и я подумал о том, что любящие люди со временем перестают замечать некрасивость друг друга, она кажется им естественной, почти необходимой. А вот «к.х.н. Желонкина», наверное, всегда видит эти белые ресницы, вытянутые толстой трубкой губы, а желтые длинные клыки ей кажутся еще

больше, чем на самом деле. Все это для нее чужое, и от этого остро антипатичное.

Поздняков сказал досадливо:

— Не тунеядец он!

— То есть как не тунеядец?

— Убийца тот, что невозвратимое сотворил, он и после кары все-таки убийца, как тут ни крути. А если тунеядец сегодня хорошо работает — какой же он тунеядец?

— А этот хорошо работал?

— Хорошо. Ему четыре месяца до окончания срока оставалось. Дружки письмо прислали, что девка его тут замуж выходит надумала, — ну он и сорвался с поселения.

— А вы?

— А я ночью его около дома дождался — в квартиру заходить не стал.

— Не понял: почему в квартиру-то не пошли?

— Соседи мне заявление уже вручили — людишки они вполне поганые, если бы увидели, что я его на дому застукал, тут бы мне уже его обязательно оформлять пришлось...

— А так?

— А так дал ему «леща» по шее и на вокзал отвез.

— Не по закону ведь? — осторожно спросил я.

— А еще два года из-за этой сикухи по закону — так бы лучше было?

Я неопределенно пожал плечами и спросил:

— Соседи эти — чем же они людишки поганые? Долг свой выполнили...

— Не-е, — покачал острой длинной головой Поздняков. — Не тот долг выполняют. Это они мне за парня своего оплачивают, клязусы мелкие разводят...

— Какого еще парня?

— Да вот пишет он на меня все время «телеги», что я ему угрожаю. А чего я ему угрожаю? Хочу, чтобы человеком был, жил по-людски, работал, женился, детей воспитывал.

— Вы мне расскажите поподробнее, что это за парень.

Поздняков поднял на меня блеклые глаза, будто всматривался внимательнее, потом сказал твердо:

— Если вы насчет той истории, что со мной произошла, то вряд ли он тут может быть причастен. А впрочем... ну, нет, не знаю...

— А вы мне просто так, ради интереса, расскажите.

— Да тут и рассказывать особенно нечего. Их фамилия Чебаковы. Отец — завкладом, мать — инвалид третьей группы, в музее смотрительницей работает. Парень родился, когда им уже обоим далеко за сорок было. Сейчас ему двадцать пять, мордovorот на шесть пудов — а для них все Боречка. Две судимости имеет.

— Хулиган?

— Э, кабы! Я ведь почему с ним так бился — тут моя крупная промашка имеется. Он ведь всегда очень спокойный был парень. С хулиганами, с ворами проще — они заметнее. Хамло из них за версту прет, особенно по пьяному делу. Ну, конечно, на учете они все у меня, чуть что — я такого сразу за бока. А этот — тихий, в школу ходит себе, потом в институт. И вдруг

его — раз! — и за фарцовку сажают. С иностранцами повязался, тряпье скупал и другим стилигам перепродавал. Для меня это как гром с ясного неба. Ну, по малолетству годов определили ему условно, и я ему, естественно, житья не даю — через день хожу домой. К райвоенкому вошел с просьбой, чтобы Бориса Чебакова в армию взяли: армия от всех глупостей лечит, учит жизни с людьми, специальности. Только не брали его в армию, пока судимость не снята.

— Ну и чем это кончилось?

— Плохо кончилось. Они на меня всей семьей вывернулись, будто я хочу Борьку сдать в солдаты, чтобы из него ученого человека не вышло. А я ведь ему доброго хотел. Вот и отправили они его в Ригу, чтобы от меня, изверга, его избавить. Он там и загредел по валютному делу...

— Но заявление об этих самых угрозах совсем недавнее?

— Так он уже отбыл срок, вернулся, отец все инстанции обегал, добился разрешения — прописали его, а Борька снова ни черта не делает.

— А подписку о трудоустройстве вы у него взяли?

— Брал два раза — пригрозил, что возбудим дело о тунеядстве. Пришел в третий, а он мне в нос справку сует: «Можешь теперь, Поздняков, спать спокойно, я самый что ни на есть трудовой человек».

— Кем же он работает? — полюбопытствовал я.

Поздняков оскалил желтые зубы, его молочное некрасивое лицо исказилось:

— Сказать стыдно — молодой, здоровый мужик работает этим самым... натурщиком. В художественном училище. Я ему говорю: «Как же тебе, Борька, не совестно срамотой деньги зарабатывать?» Да и что это за деньги для взрослого человека — шестьдесят рублей? А он нахально смеется мне в лицо — ты, говорит, Поздняков, некультурен, в искусстве ничего не смыслишь, а о заработках моих не тебе печалиться...

Конечно, в яростном возмущении Позднякова тем, что мужчина может работать натурщиком, было нечто комичное, но и я сам, честно говоря, впервые услышал — в наше-то время — о такой мужской профессии: просто никогда в голову не приходило.

— Вот она, лень-матушка, разгильдяйство до чего довести могут, — сказал с сердцем Поздняков. — Но парень-то он не злой...

### ГЛАВА 3

Странный выдался в этом году сентябрь. После дождливого июля, бесцветного блеклого августа вдруг ударила удушливая летняя жара. И здесь, в зеленом окраинном районе, осень была еще менее заметна.

Где-то далеко за Окружной дорогой глухо и мощно зарокотало — в размытой, вроде бы выцветшей голубизне неба возникли тучки, небольшие и подвижные. Одна из них подкралась к солнцу и вмиг, будто тряпкой, его стерла, и сразу же откуда-то взялся легкий прохладный ветерок, добавивший мне бодрости: от жары и монотонности своих занятий я уже решил было за-

круглиться на сегодня, оставив до следующего раза последние на этой улице два одинаковых лагутенковских пятиэтажных близнеца, украшенные игрушечными балкончиками и черной сеткой гидроизоляции. В одном из них я еще вообще не был, в другом проживал натурщик Чебаков. И я вошел в подъезд, на двери которого красовалось многообещающее объявление: «Мастер на плиссе, кв. 19».

— Очень полезная инициатива, — сказал жилец седьмой квартиры В. Э. Фимотин. — Оно и видно, что не только форму милиции поменяли. Происходят глубокие структурные перемены, и руководство желает знать, как работает низовое звено милиции. Участковые уполномоченные, так сказать...

— Участковые инспектора, — поправил я машинально.

— Ах так. Тоже неплохо — ин-спек-то-ра. Весьма полезно.

Несмотря на жару, Виссарион Эмильевич Фимотин был в шерстяном «олимпийском» костюме, передвигался по квартире быстро, энергично, а меня встретил как доброго старого друга, который долго пропадал где-то и за время разлуки стал очень знаменитым, а чуть только вернувшись, сразу оказал ему честь своим визитом. Я еще толком не успел представиться, как на столе появилась запотевшая литровая банка с ледяным, из холодильника, «грибом» — я уж, наверное, лет десять не видел в домах этих банок с плавающей коричнево-серой медузой на нежно-желтом кружевном подбое. Помню, какие споры, даже в газетах, вызывал этот гриб: одни утверждали, что он очень полезен, другие говорили, что от него возникает рак желудка. Постепенно страсти вокруг невинного и довольно вкусного гриба улеглись, и в выплеснутой воде остывшей дискуссии оказался и сам гриб. И вот теперь после многолетнего перерыва я увидел гриб на столе у В. Э. Фимотина и понял, что человек он капитальный, взглядов устойчивых и вкусов постоянных.

— Вы поймите меня правильно, — излагал Фимотин, делая маленькие вежливые глотки из стакана. — Я ведь не потому привожу подобные проверки, что имею претензии к нашему участковому ин-спек-то-ру... — Новое наименование участковых он произносил почему-то вразбивку, с большим чувством. — Капитан Поздняков Андрей Филиппович человек в высшей степени достойный, и не о нем речь. Из своего, осмелюсь не поскромничать, большого жизненного опыта руководящей работы я вывел, что низовое звено, будучи предоставлено самому себе, впадает в леность, анархию и разгильдяйство...

Целый день беготни по жаре, прекрасный ледяной квас и удобное кресло расположили меня к самому искреннему вниманию, и я вполне благосклонно, не перебивая, слушал, как бывший заместитель управляющего конторой «Горразнопромснаб» В. Э. Фимотин на протяжении многих лет обеспечивал в подведомственных ему «звеньях аппарата» дисциплину, порядок, неукоснительное выполнение плана «и все благодаря строгой системе контроля сверху донизу».

Сдержанно, коротко похохатывая — и чувство юмора проявляя, и достоинства не теряя, — Фимотин говорил:

— Я ведь тот самый зам, который за все сам. При мне на-



чальнички поживали как у Христа за пазухой. И вполне естественно: я к аппарату всегда с полным вниманием, и уж от каждого по способности всегда требовать умел.

На пенсионера Фимотин был непохож — сухой, подтянутый, с еле заметной сединой в густом рыжевatom ежике, похожем на щетку для зачистки металла. Что-то в нем было от локомотива, переведенного в резерв, — все исправно, все пригодно, узлы смазаны и начищены, только будка машиниста забита досками от дождя и снега, стоит он себе на запасных путях всегда готовый к тому, что придет приказ: доски отрывать, пары поднимать, свисток к отправлению подавать! Но вот беда только, что нет на то приказа и стоит он в тупике, всегда готовый, совсем исправный и никому не нужный.

Грибной квас между тем кончался, и я посмотрел на часы. Фимотин перехватил мой взгляд:

— Ох, заболтался я. Оно все же истина: любит наш брат интеллигент пофилософствовать. А ведь вас факты интересуют... Я вежливо улынулся.

— Буду по возможности краток, — сказал Фимотин деловито. — Возьмем мою свояченицу...

— Возьмем свояченицу, — согласился я.

— Местожительство ее — Ховрино. Значительный контингент пьющего мужского населения в ее микрорайоне в сочетании с рядом расположенным пивным павильоном определяет, если можно так выразиться, нравственную атмосферу в ихнем дворе. А именно: пьянь, извините за выражение, шум определенной тональности, драки и, как следствие всего, кражи. Воруют у лежащих беззащитных пьяных из карманов. Воруют из подъездов детские коляски, а в зимний период времени — сани. Не ошибусь в предположении, что сани меняют на бутылки, естественно. И вот вам финал — у Раисы, у свояченицы то есть, крадут третьего дня... — Фимотин сделал драматическую паузу, и я замер, — «Литературную газету» из ящика и выворачивают в подъезде электролампу! Что теперь на повестке?

— А куда же участковый смотрит? — строго спросил я.

— Вот именно, куда?! — торжествуяще подхватил Фимотин. — Он систематически умывает руки. Он, извините, не чешется. Он в ус не дует! Тем более что по молодости лет у него такового не имеется. Зато найти его исключительно трудно, и где он целые дни обретається — неизвестно.

— Да-а, ну и порядочки... — сказал я.

— К чему я веду? — живо отозвался Фимотин. — А веду я к тому, что на этой работе нужен человек, который болеет за дело. Живой человек, где-то даже животрепещущий. Вот как, например, наш Поздняков Андрей Филиппович. Первое дело — он всегда здесь, в наличии. Возражений всяких крикунов не допускает — я, говорит, всей милиции начальник на данной улице. В подворотнях у него не собираются, из подъездов саней не крадут. Хулиганства всякие пресекает железной рукой. Привожу пример... — Заметив, что квас в банке кончился, Фимотин сделал рукой извиняющий жест, быстро прошел на кухню, хлопнул дверцей холодильника и принес новую банку. — У Дендеберова из тридцать девятой квартиры завелся «Жигуль». Так вот, в одно утречко видит этот самый Дендеберов, что

гвоздем на двери «Жигуля» нацарапано выражение. Два дня Поздняков с этим делом крутился, всех подозрительных проверил — и Легостаевых сына Женьку, балбеса четырнадцатилетнего, уличил, и по почерку доказал, что он писал!

Я слушал, кивал головою и видел, что никаких реплик от меня не требовалось, В. Э. Фимотин рад был гостю, ему явно нравилось собственное красноречие, возможность показать кругозор и умение разбираться в людях. И конечно, очень его стимулировало доверие властей, которые его, именно его, пригласили оценить и высказаться о деятельности работника милиции. Разглаживая тонкими пальцами корректные рыжеватые усики над узкими сухими губами, он продолжал:

— Конечно, сейчас по книжкам привыкли, что участковый — это добрый такой дядечка, всей улице родная душа и тому подобное. Поздняков Андрей Филиппович не из таких, прямо скажем; мужчина он серьезный, я бы сказал, суровый даже, без всяких там улыбочек. Ну и кой-кому это не нравится. Грубый, говорят, солдафон. Только неправильно они судят: грубостей он не допускает и в отношениях проявляет законную вежливость. Так что меня не это беспокоит... Пьет он.

Если бы Виссарион Эмильевич заявил вдруг, что он император римский, я бы этому меньше удивился, чем такому повороту в его благожелательном повествовании. Но он сказал, что участковый Поздняков пьет, и это требовало серьезного отношения.

— Так и монахи пьют, — сказал я как можно небрежнее. — Важно как, где и с кем.

— Вот именно, как и где, — подтвердил Фимотин. — Если бы он дома в выходной приложился несколько и нос, как говорится, в табаке — на здоровье и пожалуйста. Но только есть мнение, что как раз дома он от этого воздерживается. Неподходящая, по моим сведениям, у него дома обстановка. Не для выпивки, в частности, а вообще...

Фимотин поднял палец, прошелся по комнате, задумчиво поглаживая рыжие усы, и, хотя бледное, сухое лицо его было спокойно, маленькие зоркие глазки под нависшими желтыми кустиками бровями выражали живейшее участие.

— И вы считаете... — осторожно начал я.

— И я считаю, — перебил Фимотин, — что капитан Поздняков Андрей Филиппович на этой почве несколько злоупотребляет... Вы, повторяю, меня правильно поймите, я ему добра желаю, но... но... В общем, не мое это, конечно, собачье дело, извините меня за выражение, но мне, как гражданину, как старому кадровому работнику... обидно, если хотите, больно видеть этот нос его, на котором каждый день прожилочек прибавляется, глаза, постоянно красные... запашок при разговоре ощущается...

— М-да, ситуация, — промямлил я растерянно. — И часто это бывает?

— Как вам сказать? — Фимотин помолчал, подумал, рассеянно взъерошил жесткий ежик прически, подошел к столу, отпил квасу. — Я ведь лично не так уж и часто с ним непосредственно встречаюсь... Но в те разы, когда встречаюсь... Д-да, наблюдаясь вышеупомянутое. И, позволю себе не поскромничать, в рас-

суждениях, не для меня же персонально он каждый раз... того.

— Это очень важно, все, что вы говорите, — сказал я. — И мы к таким фактам относимся очень серьезно.

— Так ведь я потому и изложил сомнения свои, что это важно. — Фимотин нахмурился, кустистые брови сошлись над переносьем. — Не ровен час, переберет, как говорится, глядишь, и заснет где... А в кобуре-то — оружие табельное, в кармане — книжечка красная. До беды-то далеко ли?..

Ну и ну! Виссарион Эмильевич, кто же ты — провидец? Или мошенник? Откуда же тебе предвидеть так точно беду, которая грянула на Позднякова? Как же это ты все так правильно угадал? А может быть, не угадал? А знаешь? Но откуда?

Тут я, наверное, промашку дал, не ответив сразу на сердечное опасение Фимотина за судьбу и честь Позднякова. Потому что он вдруг улыбнулся во все лицо, и я видел, что улыбаться — занятие для него непривычное, он, наверное, делает по утрам улыбочную зарядку, чтобы не подкачать в нужный момент, но, во всяком случае, улыбнулся он самостоятельно, без посторонней помощи и не оттягивая губу рукой.

— Да что это мы заладили с вами, товарищ инспектор, про все мрачное, и я тут раскаркался: невзначай навредишь еще хорошему человеку. Все-таки в целом надо сказать, что он товарищ положительный, вы это с уверенностью и чистой совестью можете так и доложить начальству. Низовой исполнительный аппарат находится у нас на надлежащей высоте, — добавил он значительно.

Я пил холодный гриб и с интересом рассматривал этот паровоз со стравленным паром. В начале разговора я видел стоящим его в конце железнодорожной колеи, где перед носом — три метра рельсов, а дальше загигают они вверх крючками, на которые набита шпала — как окончательный и бесповоротный шлагбаум, дальше пути нет, все дороги сошлись и окончились здесь. А теперь возникло у меня ощущение ошибки — вдруг по ночам он выползает из своего тупика, и в мраке и тишине без света, без пара, без приказа о конце консервации носится по пустынным перегонам, сметая с рельсов зазевавшихся людей.

— Я человек не злой. И совершенно безвредный. Как бабочка махаон. — Борис Чебаков взмахнул длинной гривой великолепных черных волос и весело засмеялся. Я тоже засмеялся совершенно искренне. — Вот рассудите сами, инспектор, вы же производите впечатление человека интеллигентного: ну, может ведь так случиться, что у человека есть призвание, которое не лежит в производственной сфере?

— А какое у вас призвание? — спросил я с интересом. — Быть натурщиком?

— Ну-у, фи, это не разговор! Ведь вы работаете в МУРе, наверное, не потому, что вам больше всего на свете нравится ловить вонючих воришек и пьяных грабителей?

— Не потому, — кивнул я.

— Вот и я работаю натурщиком не потому, что это мне больше всего нравится. Хотя и не разделяю предрассудков в отношении этой профессии.

Видимо, я не совладал с мускулами лица и невольно ухмыльнулся, потому что Чебаков заметил это и сказал:

— Господи, когда же вы, товарищи-граждане-люди, поймете, что быть натурщиком — это очень тяжелая и творческая работа?

— Творческая? — переспросил я.

— А вы что думали? Почему художественная классика одухотворена, а не сексуальна? Потому что Джорджоне или Микеланджело искали не складный кусок мяса на гибком костяном каркасе, а мечтали в красоте обрести душу человеческую! И натуру подбирали годами!

— Вы напрасно так кипятитесь — я не спорю. Хотя и воздержался бы ставить телегу впереди лошади: помимо натурщика, кое-что еще художник делает. Но мы не договорили насчет вашего призвания...

Комната Бориса Чебакова, небольшая, квадратная, была похожа на цветную трехмерную фотографию из альбома модных жилых интерьеров. Тахта, два глубоких кресла, яркий палас на полу, стены с элегантными удобными стеллажами, проигрыватель-стереофоник с парой нарядных «спикеров», иконы, ряды долгоиграющих пластинок в цветных блокпакетах, четыре распятия — одно из них замечательно красивое, старинный бронзовый фонарь. На потолке углем нарисованы — из угла в угол, от двери к окну — следы громадных босых ног. И во всем этом салонно-будуарно-музыкально-молельном великолепии царил Борис Чебаков — здоровенный красивый парень с застенчиво-наглой улыбкой.

— Насчет призвания? — сказал задумчиво Чебаков. — Не знаю, можно ли считать это призванием, но я бы хотел написать о джазе...

Он замолчал, и я спросил:

— Статью? Или книгу?

— Нет, это, конечно, не статья, даже не книга. Я бы хотел написать себя, свою личность в джазе — поток ощущений, образов, мыслей, тот мир, который мне открыт в музыке.

— А вы сами играете?

— Нет, мое призвание — слушать. Слушать и чувствовать...

Ей-богу, он сбил меня с толку. Мы живем устоявшимися представлениями, и резкое переключение их вышибает из нас уверенность в истинах. Я смотрел на него почти с благоговением, потому что одним из самых твердых моих представлений является идея о том, что человек должен скрывать свои паразитические наклонности. И до сих пор мне не приходилось встречаться с таким разнузданно-откровенным выражением потребительства, возведенного в ранг жизненной программы, такой искренней эманации захребетничества. Прямо-таки король, его тунейдское величество!

— Вам это не очень понятно? — предупредительно спросил Борис.

— Да, не совсем, — кивнул я. — Буду вам признателен, если вы мне разъясните это все конкретнее.

— Пожалуйста, — Борис закурил сигарету, уселся поудобнее в кресле. — Мы все живем в очень богатом мире. Материально богатом. И никакой нужды в том, чтобы обязательно все про-

изводили материальные ценности, не существует. Люди мчатся за техническим развитием, а это не серьезнее, чем попытки кошки ухватить свой собственный хвост. Человек позавидовал птице — получил себе на голову стратегический бомбардировщик. Захотел думать и считать быстрее — пожалуйста: бомбардировщик наводит на цель электронная машина. Мечтал видеть сквозь мглу — радар обеспечит точность попадания. Можно еще говорить об Эйнштейне и атомной бомбе, но проще сказать — людям не хватает духовной жизни, а они мечтают о «Запорожцах».

— А как у вас обстоит с духовной жизнью? — терпеливо спросил я.

— О, с этим у меня все в порядке, — спокойно заверил меня Чебаков. — Вот мои друзья, мои эмоциональные наставники...

Он снял с полки несколько пластинок, протянул мне. На цветном мелованном конверте был мастерски сфотографирован музыкант: молодой негр сидит в известной позе Рамзеса, на коленях гитара, глаза закрыты.

— Это Джимми Хендрикс, великий музыкант. Видите, зеленоватый дым вокруг головы, как нимб? Знак, что он скоро умрет. Они ведь все здорово «подкуривают»...

— И что — умер?

— Да, он отравился наркотиками у Моника Донеман. Это был тогда жуткий скандал в ФРГ. Ах, какой божественный гитарист! Безусловно, первая в мире соло-гитара. Хендрикс выдрессировал ее, как живого зверька, — она говсрить умела. Он, когда играл, не просто перебирал струны — он свою гитару бил, ласкал, щипал, гладил...

— А вы разве видели, как он играет?

Чебаков усмехнулся.

— Зачем мне видеть, я слышал. И чувствовал. — Он показал на другую пластинку. — Это концерт Джаннис Джоплин «Болл ин чей», это Фрэнк Заппа, это Биби Кинг, это Джордж Харрисон и Эрик Клаптон, это Пинк Флойд, это программы «гэмивудлиив» Кеннета Хита... Хотите послушать? — неожиданно предложил он.

— Да нет уж, спасибо, у меня, навернсе, для такого серьезного дела нет призвания, а самое главное — времени. У меня пот как раз сильные перебои с духовной жизнью, потому что мне дают зарплату, к сожалению, не за тот поток ощущений, образов и мыслей, которые могут мне открыться в джазе. Так что хотел бы спросить...

— Весь к вашим услугам!

— Сколько стоит у фарцовщиков такая пластинка?

Борис обаятельно улыбнулся.

— Диск «запыленный» или новый?

— Новый.

— От ста до двухсот рубликов.

Это он точно сказал — я ведь и без него знаю цены, немало мне пришлось повозиться с делами фарцовщиков.

— Вот смотрю я на ваш стереофоник, иконы, на ваши диски и на вас самого, Чебаков, и является моим очам зрелище модного молодого человека, который весь из себя расклевашенно-при-

таленный, в рубашке «суперральф» — ворот на четыре удара, с золотыми «зипами», в джинсовом костюме, да не в каком-нибудь там «запальном», а в самом что ни на есть фирмовом «вранглере».

— «Лэвис-коттон», — спокойно поправил меня Чебаков. — Можете добавить еще вайтовые траузера с задвигалами\*.

— Ну, «лэвис-коттон», не будем мелочными. И сами вы весь такой отстраненный от нашей ничтожной людской суеты, весь в высокой духовной жизни, что мною невольно овладевает зависть — мне ведь всегда хотелось быть похожим на таких замечательных людей. Но вот скребется во мне один гаденкиий вопросик и все это распрекрасное ощущение портит...

— С каких, мол, шишей?.. — усмехнулся Борис.

— Ага! Совершенно точно! Вы уж помогите мне, а то уйду я от вас, не спросив по застенчивости, а окажется, что я свое счастье проморгал — мог бы и сам во «вранглер» одеться, на «зипах» золотых и диски «незапиленные» по две сотни покупать. Иначе беда прямо — у меня-то зарплата вашей побольше, а пластинки только с Ивом Монтаном покупаю.

— Конечно, научу, — готовно согласился Чебаков. — Чтобы разбогатеть, надо всегда помнить о трех вещах. Первое — бережливость. Второе — бережливость к сбереженному. Третье — бережливость к бережливо сбереженному. Вот и все.

Молодец парень. Нахал. Дерзкий. Видимо, ему удалось сорвать приличный куш, и он на время «завязал», и наглость его от ощущения сиюминутной безопасности. Ну и конечно, он от природы болтун: есть такие мужики-краснобаи, для которых молчание — каторга, и пускай с риском для головы, а удержаться от трепотни-выпендривания не может.

— ...А когда живет человек красиво, в честном достатке, то у других это в глазах сразу тронится, и, как говорит наш бывший участковый Поздняков, «живешь не по средствам получаемой зарплаты!»

— А почему «бывший»? — быстро спросил я.

Чебаков задержался с ответом всего на мгновение, но я ощутил это мгновение как еле слышную склейку на магнитофонной ленте.

— Да что-то не видать его давно. То ко мне через день таскался, а то уже вторую неделю не видать...

Нет, если он и знает что-нибудь про историю с Поздняковым, то все равно сейчас не скажет. Его можно прижимать, если есть какие-то на него «компроматы», тогда, изворачиваясь, он снова стал бы болтать и обязательно в чем-нибудь протрепался. А так не скажет. И черт с ним! Паразит — одно слово.

— Ну что же, Чебаков, не захотели вы со мной пооткровенничать. И создалось у меня впечатление, что наши исправительные учреждения в работе с вами оказались не на высоте. А-а?

Чебаков откровенно, почти радостно захохотал, и я окончательно уверился, что сейчас ему нас бояться нечего.

— Это вы, инспектор, совершенно напрасно думаете. Я же

---

\* Жаргон фарцовщиков (искаженное англ.). Белые брюки клеш на «молниях».



вам сказал, что я совсем безобидный, как бабочка. Пользы вам от меня немного, но и вреда никакого...

Он стал укладывать на полке пакеты с пластинками, и неожиданно из стопы выскользнула, плавно перевернулась в воздухе фотография и упала на пол рядом с моим креслом. Я поднял ее и внимательно рассмотрел: красивая, совсем юная девушка, закрывающая одной рукой глаза от солнца, а другой обнимающая за плечи улыбающегося Бориса Чебакова...

Я очень люблю приключенческие кинофильмы. Хорошие, плохие — они мне все нравятся хотя бы потому, что я никогда не могу угадать, кто там в них злодей. Их всегда много — кандидатов в злодеи, у каждого есть какой-то подозрительный штришок в поведении или биографии, и когда уже совсем нацелился на кого-либо из них, тут-то и выясняется, что есть еще один — гораздо хуже прежних, но в конце концов виновником оказывается самый обаятельный, приятный и мирный человек.

На работе у меня всегда возникают трудности как раз из-за того, что этих кандидатов совсем нет. И это намного сложнее, чем работа с десятью почтенными подозреваемыми, среди которых наверняка есть один злодей.

Спускаясь по лестнице из квартиры Чебакова, я окончательно понял, что без каких-то мало-мальски реальных кандидатов мое дело с места не сдвинется. Самый соблазнительный вариант, при всей его трудоемкости, — искать преступника среди возможных врагов или недоброжелателей Позднякова — себя не оправдывал. Это тебе не классическая композиция в купе вагона или в загородном доме, отрезанном от мира обвалом, и незапертая маленькая гостиница, куда никто не входил и не выходил. На участке Позднякова проживает девять тысяч человек — как в приличном районном городке, и к ним ко всем не прицелишься: кто из них самый обаятельный, незаметный и приятный, чтобы в нем отыскать преступника. Самый плохой из них — из тех, что вступали с Поздняковым в конфликт, — мог бы в самом крайнем случае ночью в подворотне ударить его кирпичом по голове. Но то, что произошло!.. Нет, вряд ли кому-нибудь из них по силам проверить такое дерзкое преступление среди бела дня.

Вчера мне в голову пришла еще одна мысль: а что, если мы совершенно произвольно объединили два не связанных между собой эпизода и от этого история с Поздняковым приобрела зловещий характер? Ведь со слов Позднякова мы представляем себе события таким образом: преступник устроил ему ловушку, отравил его, и когда тот утратил контроль над собой, вывел его со стадиона, украл пистолет и удостоверение, а самого бросил на газоне.

Но ведь может быть еще одна версия. Полностью доверяя словам Позднякова, я могу предложить и гораздо более скучную идею: я сам слышал о многих случаях патологического опьянения с потерей сознания от минимальных доз алкоголя. Это может произойти от невротического состояния, от перегрева, от пищевого отравления. Вот если Поздняков действительно патологически опьянел от бутылки пива на тридцатиградусной



жаре, не помня себя выбрался со стадиона и залег на траве, то пистолет и удостоверение из кармана мог у него спереть «чистильщик» — особо отвратительная порода воров, которые обрабатывают пьяниц...

Неспешно раздумывая обо всем этом, я дошел до автомата и позвонил Халецкому.

— Для вас есть новости, — коротко буркнул он. — Хорошие.

— Что, меня в майоры произвели? — спросил я.

— Эти новости запрашивайте в управлении кадров. А у меня только серьезные дела.

— Тогда поделитесь, пожалуйста.

— Пожалуйста: химики дали заключение, подтверждающее слова Позднякова...

— Яд? — быстро спросил я.

Халецкий на мгновение замаялся, потом медленно сказали

— Да нет — это скорее лекарство...

— Лекарство?

— Да, химики считают, что это транквилизатор.

— Красиво, но непонятно. Как вы сказали — транкви...?

— Транквилизатор. Это успокаивающее лекарство. Я у вас на stole видел.

— У меня?

— Да, андаксин. Это и есть транквилизатор.

— Что же, Позднякова андаксином отравили, что ли? Для этого кило андаксина понадобилось бы.

— Андаксин — малый транквилизатор, простейшая формация. А из пробки извлекли очень сложную фракцию. Кроме того, не будучи специалистом в этом вопросе, я затрудняюсь прочитать вам по телефону курс теоретической фармакологии.

— Все понял, мчусь к вам.

— Не мчитесь. Можете двигаться медленно — вам только думать надо быстро.

— Тогда я рискую не застать вас на службе.

— А на службе вы меня и так уже не застанете — я стою в плаще.

— Как же так, Ной Маркович, мне же обязательно поговорить надо с вами?

— Больше всего вам подошло бы, Тихонов, чтобы я оставил свой дом и принес к себе в кабинет раскладушку. Тогда бы вы могли заглянуть ко мне и среди ночи. Вас бы это устроило?

— Это было бы прекрасно! — искренне сказал я.

— Да, но моя жена сильно возражает. И я сам, честно говоря, мечтаю организовать свой досуг несколько иначе.

— Как же быть? Отложим до завтра? Но знайте, что ужин вам покажется пресным, а постель жесткой из-за тех мук любопытства, на которые вы меня обрекаете.

Халецкий засмеялся.

— Вы не оставляете для меня иного выхода, кроме как разделить этот ужин с вами. Надеюсь, что ваше участие сразу сделает его вкусным. Адрес знаете?

— Конечно. Минут через сорок я у вас дома.

— Валяйте. Смотрите только, не обгоните меня — моя жена ведь не знает, что без вас наш ужин будет пресным...

В прихожей Халецкого висела шинель с погонами подполковника, и я подумал, что мне случается видеть его в форме один раз в год — на строевом смотре. Высокий худощавый человек в прекрасных, обычно темно-серых, костюмах, которые сидят на нем так, словно он заказывает их себе в Доме моделей на Кузнецком мосту, Халецкий в форме выглядит поразительно. Мой друг, начальник НТО полковник Ким Скоромников, ерзая и стесняясь, стараясь изо всех сил не обидеть Халецкого, прилагает в то же самое время все силы для того, чтобы задвинуть его куда-нибудь во вторую шеренгу — подальше с глаз начальства, ибо вид Халецкого в форме должен ранить сердце любого поверяющего строевика. Для меня это вещь непостижимая: он получает такое же обмундирование, как и все, но мундиры его, пошитые в фирменном военном ателье, топорщат на спине, горбятся на груди, рукава коротки, пуговицы почему-то перекашиваются, и в последний момент одна обязательно отрывается, стрелка на брюках заглажена криво, и один шнурок развязался. И над всем этим безобразием воздымается прекрасная серебристо-седая голова в золотых очках под съехавшей набок парадной фуражкой.

Когда-то давно, в первые годы нашего знакомства, я был уверен, что это происходит оттого, что Халецкий глубоко штатский человек, силою формальных обстоятельств заброшенный в военную организацию, что он просто не может привыкнуть к понятию армейского строя, ранжира, необходимости вести себя и выглядеть как все — согласно уставу и той естественной необходимой муштровки, которая постепенно сплавливает массу самых разных людей в единый боеспособный механизм.

Но однажды нам случилось вместе сдавать зачет по огневой подготовке, и я решил отстреляться первым, поскольку стреляю я неплохо, и не хотел смущать Халецкого, наверняка не знающего, откуда пуля вылетает. Спокойно, не торопясь я сделал пять зачетных выстрелов и не очень жалел, что три пули пошли в восьмерку, а одна в девятку. Халецкий вышел на рубеж вслед за мной, проверил оружие, снял и внимательно протер очки, почему-то подмигнул мне, обернулся к мишени и навскидку с пулеметной скоростью произвел все пять выстрелов, и еще до того, как инструктор выкрикнул: «Четыре десятка, девять», я уже знал, что все пули пошли в цель, потому что сразу был виден почерк мастера.

— Где это вы так наловчились? — спросил я, не скрывая удивления.

— В разведке выживал тот, кто успевал выстрелить точнее. А главное — быстрее, — усмехнулся Халецкий.

Совершенно случайно я узнал от Шарапова — об этом в МУРе не знал никто, — что он служил на фронте в разведроте Халецкого, и так мне было трудно представить моего железного шефа в подчинении у деликатного, мягкого Халецкого, так невозможно было увидеть их вместе ползущими под колючей проволокой через линию фронта, затягивающихся от одного «бычка», и генерала, говорящего Ною «Слушаюсь!», что мне легче было считать это придумкой, легендой, милым сентиментальным вымыслом.

— Грех тяжкий на моей душе, — сказал мне генерал. —

Большого ученого я загубил, когда затащил Халецкого к нам в милицию...

Десять лет проработали они вместе в отделе борьбы с бандитизмом — был у нас такой «горячий цех» после войны. Но сильно стало барахлить сердчишко, и Халецкий перешел в НТО. В сорок пять лет неожиданно для всех он написал учебник криминалистики, по которому учат во всех школах милиции. Я знаю, что его пригласили много раз на преподавательскую работу, но из милиции он почему-то не уходит. Однажды я спросил его об этом.

— Мне новая форма нравится, — засмеялся он.

— А если серьезно?

— Серьезно? — переспросил Халецкий. — У меня есть невыплаченный долг.

— Долг? — удивился я.

— Да. Мой отец был чахоточным портным и мечтал, чтобы я стал ученым. Ему было безразлично каким — врачом, инженером, учителем, только бы я не сидел на портновском столе, поджав под себя ноги. Не знаю, выполнил ли я его завет, став криминалистом. Но моя совесть, разум, сердце все равно не позволили бы мне заниматься чем-то другим...

— Почему?

— Мне было восемь лет, мы ехали с отцом в трамвае. На Самотеке в вагон вошел огромный пьяный верзила и стал приставать к пассажирам. Когда он стал хватать какую-то девушку, мой отец, чахоточный, недомерок, портной по профессии, рыцарь и поэт в душе, подбежал к нему и закричал: «Вы не смеете приставать к женщине!» Хулиган оставил девушку и стал бить отца. Боже мой, как он его бил!.. — Халецкий снял очки, закрыл на миг глаза и провел ладонью по лицу. — Я кричал, плакал, просил остальных людей помочь, а бандит все бил его, зверея оттого, что никак не может свалить его совсем, потому что после каждого удара отец поднимался на ноги, со слезами, залитым кровью и слезами лицом, и, выплевывая зубы и красные комья, которыми исходила его слабая грудь, кричал ему разбитыми губами: «Врешь, бандюга, ты меня не убьешь!» И все в вагоне онемели от ужаса, их сковал паралич страха, они все боялись вмешаться и стать такими, как отец, — залитыми кровью, с выбитыми зубами, и никто не завидовал силе этого огромного духа в таком маленьком тщедушном теле...

— Вы хотели отомстить за отца всем бандитам?

— Нет, — покачал головой Халецкий. — Он не нуждается в отмщении. Я служу здесь для того, чтобы люди, которые едут в огромном вагоне нашей жизни, не знали никогда того унижительного страха, который хуже выбитых зубов и измороженного тела...

Обо всем этом я вспомнил, снимая в прихожей Халецкого плащ и вешая его рядом с шинелью, которую надевают один раз в год. Халецкий сказал жене:

— Познакомься, Валя. Рекомендую тебе — мой коллега Станислав Тихонов, человек, который не женится, чтобы это не отвлекало его от работы.

Жена махнула на него рукой.

— Мое счастье, что я за тебя вышла, когда ты еще там не работал. А то бы вы составили прекрасный дуэт. Жили бы себе, как доктор Ватсон с Шерлок Холмсом.

Я пожал ей руку и сказал:

— Не вышло бы. У них там еще была миссис Тернер, а сейчас сильные перебор с домработницами.

Она покачала головой.

— Вот с моими двумя оболтусами тоже беда — хоть убей, не женятся. А так бы хорошо было... — Она проводила нас в столовую и спросила меня: — Вы потерпите до ужина еще минут двадцать или уже неможете?

— Конечно, потерплю.

— И прекрасно, — обрадовалась она. — У нас сегодня тушеный кролик. И с минуты на минуту подойдут наши Миша с Женей, тогда сядем вместе за стол. — И добавила, словно извинялась: — Я так люблю, когда они вместе с нами... Большие они стали совсем, мы их и не видим почти.

— Мамочка, мамочка, сейчас сюда ввалится пара двухметровых троглодитов, и гость не сможет разделить твоей скорби по поводу того, что они редко с нами обедают, — сказал Халецкий, и в голосе его под налетом иронии мне слышна была радость и гордость за «двухметровых троглодитов», и я подумал, что «троглодиты» Халецкого, которых я никогда не видел, должны быть хорошие ребята.

Жена ушла на кухню, а мы уселись за стол, и Халецкий придвинул к себе стопку бумаги и толстый цанговый карандаш с мягким жирным грифелем.

— Так что там слышно с андаксином этим самым? — спросил я.

— Ну, андаксин это я для примера назвал, дабы вам понятнее было, что это такое. — Халецкий короткими легкими нажимами рисовал на бумаге пса. — Но андаксин или элениум относятся к группе «малых» транквилизаторов. А вещество, исследованное нашими экспертами, — «большой» транквилизатор...

Пес на рисунке получался злой, взъерошенный, и выражение его морды было одновременно сердитое и испуганное.

— А чем они отличаются — «большой» от «малого»?

— В принципе это совсем разные группы химических соединений. «Малые» транквилизаторы относятся к карбомам, а «большие» — к тиазинам.

Халецкий поправил кончиком карандаша дужку золотых очков, отодвинул листок с разозленным псом в сторону и стал рисовать другого пса. Он был сильно похож на первого, но рожа у него была умильная, запскивающая, а хвост свернулся колбаской.

— Я буду вам очень признателен, если вы оторветесь от своих собак и объясните мне все поподробнее, — сказал я вежливо. — Меня сейчас собаки не интересуют.

— И зря, — спокойно заметил Халецкий. — Я это рисую для вашего же блага, ибо не надеюсь на ваше абстрактное мышление. Ведь вы, сыщики, мыслите категориями конкретными: «украл», «побежал», «был задержан», «показал»,

— Благодарю за доверие. — Я поклонился. — Отмечу лишь, что мои конкретии дают пищу для ваших абстракций..

Халецкий засмеялся.

— Сейчас, к сожалению, все обстоит наоборот: из моих туманных абстракций вам предстоит материализовать какие-то конкретии, и я вам заранее сочувствую. Дело в том, что и «большие» и «малые» транквилизаторы объединяются по принципу воздействия на психику. О малых — элениуме, андаксине, триоксазине вы знаете сами, а «большими» лечат глубокие расстройства — бред, депрессии, галлюцинации. Из «больших» наиболее известен аминазин.

— А при чем здесь собаки?

— При том, что если разъяренной собаке в корме дать таблетку триоксазина, то она сразу же станет ласковой, спокойной и веселой.

— Так это же в корме! Если вы мне сейчас дадите маленько корма, я и без лекарства стану ласковым и веселым.

— Это я по вашему лицу вижу. Но разница в том, что собака впадает в блаженство от лекарства и без корма.

— Понятно. Так что — Позднякову дали здоровую дозу амиазиана?

— Вот в этом вся загвоздка. Наши химики обнаружили в пробке вещество, не описанное ни в одном справочнике, — это не просто «большой» транквилизатор, это какой-то тиазин-гигант. В принципе он похож на аминазин, но молекула в шесть раз больше и сложнее. Короче, они затрудняются дать категорическое заключение об этом веществе.

— А что же делать?

— Дружить со мной, верить в меня.

— Я вам готов даже взятки давать, Ной Маркович.

— Я беру взятки только старыми почтовыми марками, а вы слишком суетливый человек, чтобы заниматься филателией. Поэтому я бескорыстно подскажу вам, что делать.

— Внимаю пророку научного сыска и филателии.

— Поезжайте завтра с утра в Исследовательский центр психоневрологии, там есть большая лаборатория, которая работает над такими вещами. Они вам дадут более квалифицированную консультацию, да и в разговоре с ними вы сможете точнее сориентироваться в этом вопросе...

В прихожей раздался звонок, хлопнула отворяемая дверь, и две молодые здоровые глотки дружно заорали:

— Мамуленька, дорогая — мы с голоду дышим!

По-видимому, явились «троглодиты»...

## ГЛАВА 4

Исследовательский центр оказался современным современным зданием — сплошь стекло и пластик. Издали он был похож на аэропорт, а внутри на зимний стадион. Стекло было кругом: стеклянные витражи, стены, часть потолков, и только турникет за стеклянными дверьми у входа был металлический. Турникет казался частью тела вахтера, усовершенствованным продолжением его корявого туловища, блестящим окончанием рук. Он

внимательно рассматривал мое удостоверение, читал его снова и снова, как будто надеялся в нем найти что-то такое, что разрешило бы ему меня не пропустить. Но пропуск был заказан, и в удостоверении, наверное, оказалось все нормально, потому что он сказал:

— Ну что ж, проходите. — И в голосе его плыло сожаление.

Вверх по лестнице — два марша, бесконечный коридор, поворот направо и стеклянная дверь с надписью: «Секретарь». Я всегда заново удивляюсь тому, что на двери руководителя никогда не пишут его фамилию; на приемной указано «секретарь», будто секретарь и является здесь самой главной фигурой, а имя Того, Чей вход она охраняет, и вообще лучше не называть.

В этом стеклянном аквариуме царила сказочная тропическая рыбка. Рыбке было лет двадцать, и выглядела она очень строгой. И оттого, что она была строгой, казалась еще моложе и красивее. Я поздоровался с ней и сказал:

— Вы похожи на подсолнух. У вас длинные желтые волосы, черные глаза, а сама вы тоненькая и в зеленом костюме.

На что она мне ответила:

— Вам было назначено на тринадцать часов, вы опоздали на семь минут.

Я сказал:

— Ваш вахтер виноват. Он меня продержал восемь с половиной минут, рассматривая мое удостоверение.

— Это все вы объясните профессору Панафидину. Александр Николаевич сам никогда не опаздывает и страшно не любит, когда это делают его визитеры. Теперь сидите ждите, у него товарищи, он освободится минут через сорок.

— Прекрасно, — сказал я. — У вас буфет или столовая есть?

— На нашем этаже есть буфет, — не выдержала, улыбнулась рыбка. Видимо, ее рассмешило, что я из неудачи хочу извлечь вполне конкретную пользу. — Приятного аппетита.

— Спасибо. — И я отправился искать гастрономический оазис в этой стеклопластиковой канцелярской пустыне.

В аквариуме, точно таком же, как тот, где обитала тропическая рыбка-секретарша, стояла кофейная экспресс-машина и за дюжиной столиков расположилось довольно много людей. На меня не обратили ни малейшего внимания, я взял чашку кофе с бутербродами и уселся за свободный стол в центре комнаты, не спеша огляделся. За соседними столиками люди были озабочены и беззаботны, молоды и зрелы, веселы и мрачны, и разговоры их прозрачным мозаичным куполом висели над моей головой:

— ...Да что ты мне баки забиваешь? При чем здесь эффект Мессбауэра?..

— ...В Доме обуви вчера давали сапоги на «платформе» по вомесьюдесят рэ. Потряска!..

— ...Перцовскому оппонент диссертацию валит...

— ...А вы еще продукт на ЯМР не сдавали?..

— ...Да не надо ему было за фосфозены браться. Он же в этом ничего не петрит...

— ...Конечно, везун — и все. Ему «Арагат» с золотыми медалями сам в руки упал...

— ...А мы на осциллографе сняли все кривые. Не-а, с кинематикой вопросов нет...

— ...Валька Табакман в отпуске на Чусовой был. Икону обалденную привез — пятнадцатилетворчатый складень, закачаешься. Он ее глидцераальдегидом чистит...

— ...Ну и жуки! Пронякин только отбыл в ИОНХ, они тут же притащили в дьюаровском сосуде пять литров пива и в муфеле шашлыки нажарили — красота...

— ...Ничего не значит — Сашку Копытина у нас четыре года младшим продержали, а в Нефтехиме он за пару лет докторскую сделал...

— ...Новый «Жигуль», конечно, лучше старого, но ведь не на две тыщи?!

— ...А я плюнул на все, везде наодолжался. и за кооператив внес. Две сто — северное Чертаново...

— ...Панафидин строит сейчас какую-то грандиозную установку...

— ...Пенкосниматель ваш Панафидин...

— ...Талантливых людей никто не любит...

— ...Девчонки из его лаборатории стонут — присесьте некогда.

— ...Панафидин лентяев не держит...

— ...Он себе «Жигуля» красного купил...

— ...Рожа у него самодовольная...

— ...Бросьте, девочки, он очень цельный человек...

— ...Панафидин...

— ...Панафидин...

В стерильно чистом кабинете и намека не было на так называемый творческий беспорядок. Каждая вещь стояла на своем месте, и чувствовалось, что, прежде чем поставить ее сюда, хорошо подумали. Но, пожалуй, больше всего на месте был хозяин кабинета. Такого профессора я видел впервые в жизни — ему наверняка и сорока лет еще не было. Жилистый, атлетического вида парень в элегантных очках, шикарном темно-сером костюме «эври-тайм», ярком, крупно завязанном галстуке с платиновой запонкой. И лицо у него, безусловно, было штучное — я на него просто с завистью смотрел. Длинные соломенно-желтые волосы, могучие булыжные скулы, чуть впалые щеки, несокрушимый гранит подбородка. А за продолговатыми стеклами очков, отливающих голубизной, льдились спокойные глаза умного, хорошо знающего себе цену мужчины.

И от всего этого человеческого монолита, свободно расположившегося в удобном кресле за сверкающей крышкой пустого письменного стола, веяло такой железной уверенностью, таким благополучием, такой несокрушимой решимостью сделать весь мир удобным для потребления, что я немного растерялся и сказал как-то неуверенно:

— Вам должны были звонить обо мне. Я инспектор МУРа Тихонов...

— Очень приятно. Профессор Панафидин. Прошу садиться.

И я сразу обрел на мгновение утраченную уверенность, потому что из этого сгустка целенаправленной человеческой воли тоненьким голосом пропищала обычная людская слабость — наше рядовое маленькое тщеславие, ибо в традиционной формуле приветствия и знакомства, выполненной по всем нормативам и требованиям, я уловил горделиво-радостное удовольствие от вслух произнесенного своего титула — символа принадлежности к особому кругу отмеченных божьим даром людей. И еще я понял, что профессорское звание Панафидин носит недавно.

Я уселся в кресло, протянул Панафидину криминалистическое заключение и отдельный листок с вычерченной экспертами формулой вещества, извлеченного из пивной пробки.

— Нам нужна ваша консультация по поводу этого вещества. Кем производится, где применяется, для чего предназначено.

Панафидин бегло прочитал заключение, придвинул листок с формулой, внимательно рассматривал его, при этом он шевелил верхней губой и указательным пальцем двигал по переносице очки. Я разглядывал пока кабинет. На подоконнике лежала прекрасная финская теннисная ракетка, а в углу, рядом с вешалкой, белая спортивная сумка с надписью «Adidas» — предмет невероятного вожделения всех пижонов. Панафидин поднял на меня сине-серые, чуть мерцающие, как влажный асфальт, глаза, спросил:

— А у вас что, есть такое вещество? — И мне показалось, что он взволнован.

— У меня нет, — сказал я.

Я готов был поклесться, что Панафидин облегченно вздохнул. Отодвинул от себя лист, сказал с холодной усмешкой:

— Ваши эксперты ошиблись. Это артефакт, — и снисходительно пояснил: — Искусственный факт, научная ошибка, небыль.

— Почему? — настороженно спросил я, совершенно отчетливо заметив растянутый на несколько мгновений перепад настроения Панафидина.

— Потому что такого вещества, к сожалению, еще не существует. — Панафидин кивнул на листок с эскизом формулы. — Эта штука называется «5—6 диметиламинопропилиден-10—17 — дигидроксибензоциклогептан гидрохлората». Похоже на сильнодействующее лекарство триптизол, но, видимо, во много раз сильнее за счет аминных цепей...

— Как же вы можете запомнить такое? — с искренним недоумением спросил я.

Панафидин усмехнулся.

— Во-первых, я не забываю это, а читаю по формуле. Во-вторых, мы сами занимаемся этим. Довольно давно. И, к сожалению, пока безрезультатно.

— То есть вы хотите сказать, что науке неизвестно это вещество?

Видимо, я сказал что-то не так, потому что Панафидин снова еле заметно усмехнулся и пояснил:

— Химикам известно это соединение, но только на бумаге.



Получить его, хотя бы лабораторно, «ин витро», нам пока не удается.

— А чем объясняется ваш интерес к этому соединению?

— По нашим представлениям, это транквилизатор гигантского диапазона действия. Существование такого лекарства могло бы произвести революцию в психотерапии...

— А в чем отличие его от существующих транквилизаторов?

Панафидин задумчиво pokrutil пальцем на столе зажигалку — красивую, обтекаемую вещь, похожую на кораблик, внимательно посмотрел на меня.

— По-видимому, вы в этих вопросах не совсем компетентны, поэтому я постараюсь упростить все до схемы. Суть состоит в том, что двадцать лет назад доктор Бергер выпустил из бутылки джинна, которому ученые присвоили название «транквилизатор», то есть «успокаивающий». Началась эра прямого воздействия химии на психическое состояние человека. В целом это было исключительно своевременное открытие, потому что неизбежные вредные последствия научно-технического прогресса — умственные перегрузки, бешеный поток информации, уровень шума, общий темп жизни — все стало обгонять способность нашей психики приладиться к уже свершившимся переменам в мире.

Зазвонил телефон.

— Извините, — сказал профессор и снял трубку. — Панафидин у телефона. А-а! Сколько лет, сколько зим! В наше время, чтобы дружить, надо или вместе жить, или вместе работать... Если хочешь, приезжай сегодня на стадион «Шахтер», там прекрасный корт... Нет, я на «Науку» не езжу — неинтересно. Ну и отлично! До вечера, обнимаю.

Панафидин опустил трубку на рычаг и без малейшей паузы продолжил:

— Результатом отставания нашей психики от прогресса явились нервные перегрузки, депрессии, необъяснимые страхи. И тут появились транквилизаторы, снимающие подобные явления. Естественно, что они стали широко применяться во всем мире...

Я перебил Панафидина:

— А на какие органы воздействуют транквилизаторы?

Панафидин чиркнул зажигалкой, закурил сигарету, подул, отгоняя от себя синее облако дыма, затем не спеша сказал:

— На лимбическую систему, есть такая, между большими полушариями мозга и его стволом. Грубо говоря, именно здесь рождаются человеческие эмоции. Так вот, после открытия Бергера химики, психиатры и психологи стали искать во всех направлениях аналогичные лекарства.

— Мне показалось, что вы сказали: «...химики стали искать...» Что, подбирать на ощупь? — спросил я.

— Ну, не совсем так. Скорее даже совсем не так. Конечно, элемент слепого поиска присутствует в любом эксперименте, но мы выбираем вещество одного класса и группы. И препарат мы ищем с заранее спрограммированными свойствами.

— И вот это, — я кивнул на листок с формулой, — должно реагировать по заданному механизму?

— Да, мы твердо рассчитываем на это. Но, к сожалению, вещество мне пребывает пока только в области наших научных

планов и пожеланий. Интерес химиков и врачей к нему таков, что еще не полученное соединение уже окрестили — мы называем его метапропитизол. Вот только получить его еще никому не удалось, во всяком случае, по моим сведениям, а мы следим за всем выходящим в мире по этому вопросу.

Я спросил:

— А почему вы считаете, что такое лекарство произвело бы революцию?

— Хм! Постараюсь объяснить популярно. Вы помните сказку про Царевну Несмеяну?

— Ну?

— Царевна была печальна, удручена, несчастна. И никогда не смеялась. А потом явился Иван-дурачок, дал ей что-то, лягушку, что ли, не помню. И Несмеяна засмеялась. Улавливаете?

— Нет пока...

— Мифы основаны на важных истинах. Девочка Несмеяна была психически больна. А Иван-дурачок дал ей какой-то неведомый транквилизатор, и она выздоровела. Так возник миф. А действительность... Ну, что вам сказать? С помощью «большого» транквилизатора можно было бы побороть гипертонию, язвы, депрессию, неврозы. Шизофрению, наконец. А главная идея лекарства в том, что оно снимало бы полностью человеческие нервные перегрузки. Человек был бы избавлен от таких состояний, как страх, испуг, подавленность.

— Вот, оказывается, как это просто, — сказал я. — Науке остается только получить лекарство — и порядок. Раскрыть, так сказать, секрет Ивана-дурачка...

— К сожалению, это не так просто. Дело в том, что мы пока что самого-то Ивана плохо знаем. Человечество зазналось от своих микроскопических научных побед. Человека распирает гордость оттого, что он топает по Луне, спустился на дно океанов, поймал чуть ли не в ладонь нейтрино. А ведь о самом себе человек не знает почти ничего. Почти ничего или катастрофически мало.

Я поднял руки:

— Не разочаровывайте меня. Я был лучшего мнения о достижениях медицины.

— Не надо воспринимать меня слишком буквально. Современная наука не разделяет точки зрения Заратустры, который считал печень местопребыванием всех страстей и огорчений. У нас другая позиция. Однако, если оценивать мир достаточно трезво, не больно-то далеко мы ушли от этих представлений.

Я ухмыльнулся:

— У вас отношение к человеческому существу еще проще, чем у паталогоанатома.

Панафидин пожал плечами:

— А откуда ему взяться, другому отношению?..

Зазвонил телефон. Панафидин извинился и снял трубку.

— Владимир Петрович! Я вас приветствую. Естественно, помню обо всем и подтверждаю: долг платежом красен. Да, да, да, это я понимаю. Но вы и меня поймите — мне тоже надо лавировать. Лично быть оппонентом я готов хоть завтра, а обещать свою контору в качестве оппонирующей организации

не могу... А я вам и говорю прямо и честно: так за мои труды мне и хула и почести, а так — это на дядю работа. А у меня и без того со временем туго, чтобы кто-то на моем хребте в рай въезжал... Это, пожалуйста, — думайте. Обнимаю вас, мой дорогой...

Он положил трубку и хмыкнул:

— Ишь, деятели, дурачков ищут. Ну ладно, вы сетовали на упрощенность...

— Не будем спорить, — сказал я примирительно, потому что понял, что эта дискуссия может завести нас слишком далеко.

Я взял в руки листок с нарисованной чудовищной формулой, посмотрел на него, и было мне это все совсем непонятно.

Я спросил Панафидина:

— Александр Николаевич, вы сказали, что это вещество похоже на триптизол по своей формуле. Вот по вашим наблюдениям, какая доза понадобилась бы триптизола, чтобы здоровый человек, приняв ее, в течение 10—15 минут потерял сознание?

Панафидин удивленно посмотрел на меня.

— Странный вопрос, мне никогда не приходилось с ним сталкиваться. Ну, прикинем, — он взял ручку, написал что-то на листе бумаги, что-то перемножил. — Думаю, что таблеток тридцать в обычной расфасовке, если исходить из того, что 0,25 миллиграмма идет на порцию. А что? Почему у вас возник такой вопрос ко мне, если это не секрет?

Я подумал и решил, что ему можно сказать.

— Дело в том, что вот этим веществом, которое, как вы полагаете, еще не существует даже в лабораторных количествах, был отравлен человек. Нам очень интересно, откуда преступник мог взять это вещество.

Панафидин вскинул на меня глаза, и мне показалось, что он побледнел.

— Отравлен? — переспросил он каким-то осевшим голосом. — Минуточку... Минутку... А почему вы думаете, что именно метапроптизолом?

— Это не я думаю, это эксперты наши говорят...

— Я понимаю, что не вы думаете!.. — с неожиданной для меня злой досадой перебил Панафидин. — На каком основании они пришли к такому выводу? Труп исследовали?

— Не-ет, до этого дело не дошло, — сказал я, и мгновенный испуг окатил меня холодной волной, когда я представил себе Позднякова мертвым. — Человек-то выжил...

— Так что же они исследовали, черт возьми?! — закричал Панафидин, и тут же зазвонил телефон. Он рывком схватил трубку, не слушая, рывкнул: «Я занят. Позже!» — и шваркнул трубку с такой силой, будто хотел выместить на ней злость на мою непонятливость. — Что, откуда они пришли к этой формуле? Какое вещество они исследовали?!!

Я сказал спокойно:

— Пробку от пивной бутылки. В этой бутылке растворили яд...

— Пробку? Но это же ничтожно малые следы... Разве могут ваши эксперты...

— Могут, — авторитетно сказал я и вспомнил Халецкого. — Наши эксперты все могут.

Панафидин резко поднялся.

— В таком случае я хотел бы сейчас же поговорить с ними. И посмотреть протоколы анализов... если можно.

— К сожалению, экспертов нет сегодня, — сказал я на всякий случай. — У них республиканское совещание. Через день-два — пожалуйста.

Панафидин сел.

— Черт поberi эти совещания... — сказал он почти механически и надолго задумался, энергично растирая лоб холеными длинными сильными пальцами. — Нет, этого не может быть. Артефакт. Артефакт... Ошибка...

Я пожал плечами, а Панафидин продолжал бормотать себе под нос:

— Ну хорошо, отравили, допустим. Но почему, зачем метапроптизолом?! Чужь какая! Сколько ядов существует! Так или нет, инспектор? У вас спрашиваю!

— Вам виднее, — сказал я нейтрально.

Тут, вероятно, новая мысль промелькнула у Панафидина, и он спросил быстро:

— А преступник задержан?

— Мы с этим разбираемся, — ответил я уклончиво. — Факт тот, что, если эксперты не ошиблись и вещество все-таки открыто, первой же дозой его преступник распорядился совсем не по тому назначению, которое виделось создателю лекарства.

— А кого отравили? Опять же если это не секрет?

— Этим препаратом был отравлен работник милиции, — сказал я. — Преступник похитил у него пистолет и служебное удостоверение.

— Азия какая, дикость, — пробурчал Панафидин, взяв наконец себя в руки. — Сотни людей ищут это соединение, чтобы исцелить им страждущих, а какой-то дикарь травит им здорового человека.

И снова зазвонил телефон. Уже не извиняясь, Панафидин снял трубку:

— Да, это я. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич... А что Соколов? Три года его аспирантского срока истекли, эксперимент он закончил, пусть теперь уходит и пишет на покое диссертацию. Нет, я его на этот срок к себе не возьму. Мне это неприятно вам говорить, но вы знаете мою прямооту и принципиальность в научных вопросах. Ваш Соколов — парень хоть и неглупый, но неорганизованный и полностью лишенный интуиции синтетика. Он этой работы не понимает, не имеет к ней вкуса и интереса, он не любит химию. А за прекрасные анекдоты и шутки, которыми он три года развлекал лабораторию, я держать у себя захребетника не стану. Вы уж простите меня, но я лучше в глаза всегда скажу. Пусть сам побарахтается — нам ведь с вами никто диссертаций не писал, а защищались мы досрочно потому, что свое дело любили и кусать хотели... Ну, это я не знаю, решайте по своему усмотрению. — И закончил злобно: — Всего вам доброго...

Он помолчал, потом, повернувшись ко мне, сказал:

— И все-таки я думаю, что здесь недоразумение. Я не верю в то, что какой-то химик получил это соединение и не понимает, что у него в руках.

— Вы не верите в возможность случайного открытия этого соединения?

Панафидин раздавил окурки в пепельнице, усмехнулся.

— Ваш вопрос прекрасно иллюстрирует общие представления людей о характере нашей работы. Бродим все впотьмах, вдруг одному повезло — бац! — великое открытие, как клад, извлечено на всеобщее обозрение. Так сейчас не бывает...

— А как бывает? — смиренно спросил я, хотя он мне уже прилично надоел своей ученой гоношливостью, но мне не хотелось, захлопнув его дверь, поставить на деле точку. И кроме того, еле заметное и все-таки уловленное мною волнение Панафикина будоражило мой сыскной нюх. Что-то он знал, или догадывался о чем-то, или имел какое-то дельное предположение, но говорить не хотел.

— Наука очень специализировалась. И в каждой из ее областей масса прекрасных специалистов занимается тончайшими проблемами. И когда совокупность их знаний достигает необходимого уровня, кто-то из них кладет последний кирпичик — часто это совсем крошечный кирпичик, — и великое здание открытия завершено.

— А может быть, кто-то и положил уже этот кирпичик в создание метапропизола?

— Нет, — покачал он головой. — Я ведь сам прораб на этой стройке и знаю, что у кого сделано: мы этот дом еще под крышу не подвели.

— А вот, пока вы тут свой храм из кирпичей складываете, вот этот самый из бетонных блоков отгрохал коробку — и привет!

— И такое возможно. Но для этого надо быть в математике Лобачевским, в физике — Эйнштейном, а в химии — Либихом. У вас есть на примете Либих? — спросил Панафидин, поднялся и сказал: — Я часто задумываюсь над удивительным смыслом своей профессии. Я химик, может быть, это объясняет некоторую мою тенденциозность, но постепенно в моем мировоззрении возник этаким химиоцентризм. Действительно, химия проникает повсюду. Кофточки, резиновые покрывала, любовь, платья, костюмы, деторождение, заводы, удобрения, урожай — все становится зависимым от химии. Химия впереди всей человеческой науки...

— Ну а если считать, что все новое — лекарства, идеи, теории, машины, моды, — все исходит от науки, то вы впереди всего человечества, — я усмехнулся и, не давая возможности Панафидину ответить, спросил: — Вы не можете показать мне вашу лабораторию? — И на всякий случай уточнил: — Ту, где вы работаете над метапропизолом.

— Почему не могу? Пожалуйста...

Панафидин достал из стенового шкафа белый халат, подсиненный, накрахмаленный, выглаженный до хруста, натянул на широкие плечи.

— Пошли? Вам халат дадут в лаборатории...

Но мы не успели выйти, потому что еще раз позвонил телефон.

— Панафидин. А-а, здравствуй, здравствуй. Да, у меня люди. Я убегаю, перезвони через час... Ну тогда договоримся сейчас:

значит, в субботу без четверти семь у входа в Дом кино. Да, да, мне Алексей Сергеевич билеты оставит. Ну не знаю я — надень что хочешь... Да, во всем. И всегда. И больше никто. И никогда. Всего доброго...

Аквариум с желтоволосой тропической рыбкой, стеклянная дверь, пластиковый бесконечный коридор с неживым дневным светом, поворот налево, переход направо, темный холл, разломленный столбом дымящегося солнца, лестница — два марша вверх, коридор, выкрашенная белилами дверь с табличкой «Лаборатория № 2».

В большой комнате с многостворчатым окном работало четверо.

— Здравствуйте, друзья, — сказал Панафидин.

Люди рассеянно оглянулись, разноголосо прокатилось по комнате:

— Здра-сьте, Алексан Никола-ич...

Ни на мгновение не отрываясь, все продолжали заниматься своим делом. Одна из сотрудниц собирала на длинном столе у торцевой стены какой-то грандиозный прибор: в нем было штук пятьдесят колб, разнокалиберных пробирок, стеклянных соединительных трубок, кранов, нагревателей. В различные узлы этого хрупкого и как-то очень гармоничного сооружения были вмонтированы электрические датчики, подключены приборы, сигнальные лампы, в овальный десятилитровый герметический баллон впаяны электроды, похожие на игрушечные лопатки.

За столом у окна коренастый паренек с длинной модной прической колдовал над прибором.

— Как дела, Леша? — обратился к нему Панафидин.

Парень помотал головой из стороны в сторону.

— Разваливается продукт, Александр Николаевич.

— Я тебе достал молекулярные сита на три ангстрема, зайдешь ко мне.

В приборе булькала, закипая, какая-то жидкость. Центром прибора, видимо его главной частью, была крупная трехгорлая колба, под которой курилась паром водяная банька. В среднее широкое горло спускался гибкий привод от моторчика — двухлопастная мешалка непрерывно разбалтывала содержимое сосуда. Через правый ввод в колбу спускалась капельница, отдельно сочившая желтые тяжелые бусинки. В левое горло был введен радиационный охладитель — стремительно взлетающие по трубке пары оседали каплями на омываемом циркулирующей водой стекле и медленно стекали снова в колбу.

Панафидин, остановившийся за моим плечом, сказал:

— Это так называемая реакция Гриньяра. Но главная наша надежда там, — он махнул рукой в сторону установки у стены. — Эта система должна сработать...

И мне послышались в его голосе горечь, усталость, почти отчаяние.

— А в чем у вас главная трудность? — спросил я.

— Молекула не держится. В схеме она состоит из нескольких очень больших блоков. Но чтобы устойчиво соединить их, в колбе нужен определенный режим — температура, давление,

свет, катализаторы. Для каждой отдельной связи в молекуле мы эти параметры определили. А все вместе — никак... Это очень трудно.

Да, наверное, действительно трудно быть впереди всего человечества.

К нам подошла женщина, которая собирала огромный прибор, поразивший мое воображение. Она сухо кивнула мне и сказала Панафидину:

— У меня с двух часов семинар с практикантами.

— Хорошо, Анюта. Познакомься — это инспектор Тихонов, — повернулся ко мне: — Анна Васильевна Желонкина, мой заместитель в лаборатории.

Желонкина? Совпадение? Я не мог вспомнить инициалов жены Позднякова — ее объяснение я читал в деле. И на всякий случай, не мудрствуя, я спросил:

— Простите, а как фамилия вашего мужа?

— Поздняков, — ответила она быстро и добавила: — Можно подумать, что вы этого не знаете.

Панафидин удивленно переводил взгляд с Желонкиной на меня, потом сказал:

— Ах да, я ж забыл — муж Анны Васильевны тоже в милиции работает...

Желонкина бросила на него короткий взгляд:

— Вы полагаете, что все работники милиции дружат домами?

Я вмешался:

— Мне с вами надо поговорить, Анна Васильевна.

— Я буду у себя в кабинете в четыре часа...

Жена Позднякова знала об истории, которая с ним приключилась. И мужу своему не верила. Конечно, она этого мне не сказала, но я видел, что она ему не верит и не жалеет его. Вообще Анна Васильевна Желонкина показалась мне человеком, раз и навсегда усвоившим, что жалость унижает человека. Лицо у нее было грубоватое и красивое, хотя твердые, прямые морщины у глаз и крыльев носа уже наметили тот зримый рубеж, перевалив за который, красивая женщина сразу превращается в величественно-каменную старуху.

И от старания не показать мне, что ей не жалко завравшегося, бестолкового мужа, и от стыда за его позорное поведение Анна Васильевна хотела придать всей этой истории этакий анекдотический характер: мол, по существу, сказать ничего не могу, но в подобных вопросах можно было бы проявить сочувствие и понимание — с кем из вас, мужиков, такое не может приключиться? Для убедительности она помахивала в воздухе маленькой деревянной указочкой, и, завершая ее последний ответ, который одновременно был укоризненным вопросом ко мне, указочка описала петлю и проткнула в воздухе точку — действительно, с кем из нас, мужиков, не может приключиться такое?

Я поймал конец указочки, прижал ее к столу и ласково сказал:

— Анна Васильевна, мне кажется, вы не улавливаете, о чем я вас спрашиваю...

— А что?

— А то, что с нами, мужиками из милиции, это никогда не должно приключаться. А если приключается, то за это отдают под суд. И как раз в этом положении сейчас находится ваш муж. Понятно?

Она высободила указочку из-под моего пальца и постучала по столу, и я видел по ее лицу, что гораздо охотнее она бы стучала по моему лбу. Только гораздо сильнее — лучше всего с размаху. Все-таки она постучала по столу и сказала:

— Мне-то понятно. Боюсь только, что это вы не улавливаете — я вам уже сказала, что наша семья фактически распалась несколько лет назад. Ничего вам плохого о Позднякове сказать не могу.

— А хорошего?

— Хорошее о нем у вас надо спрашивать — вы его, наверное, чаще видите...

Когда я вошел в кабинет со стеклянной табличкой «К.х.н. А. В. Желонкина», Анна Васильевна занималась с дипломниками. Она попросила меня подождать и минут пять втолковывала задумчивому студиязу, что радикал, диметиламинопропил, в условиях сублимации из ортопозиции, минуя метапозицию, незамедлительно перейдет в парапозицию, ослабнет углеродная связь, и радикал будет замещен свободным атомом азота. Что дальше? Вещество мгновенно развалится. При этом она все время вела указочкой по схеме, на которой была изображена огромная молекула, похожая на грубо оборванный кусок пчелиного сота, и приговаривала:

— Ну чего здесь непонятного? Это же ведь так ясно, ведь это же просто очевидно...

Студиязу это не казалось таким очевидным, а для меня это и вовсе было непостижимо, и от сознания своей неспособности проникнуть в мир, устройство которого так ясно представляла «К.х.н. А. В. Желонкина», огромный, невероятно сложный микромир, где каждая черточка схемы была стропилом или опорой удивительного здания вещества, а для меня это все стерлось и растворилось в маленьком ручейке школьного полузнания загадочной, и тогда мне совсем неинтересной науки, — от всего этого я буквально нутром почувствовал то почтительно-обреченное уважение и безнадежность что-либо изменить, которое испытывал инспектор Поздняков к своей жене: «...Сейчас она стала большой человек, можно сказать — ученый, а муж у нее лапоть необразованный»...

Студент-дипломник ушел, и мы погрузились в круговерть извилистого, запутанного мира двух уже немолодых людей, двадцать лет строивших непонятное здание своей жизни, где в условиях жаркой человеческой сублимации один из них незаметно перешел из ортопозиции в парапозицию: все годы был рядом, а вдруг оказался напротив, и тогда ослабли связи, казалось бы, нерушимое вещество их союза мгновенно развалилось. Почему? Привычное место было замещено свободным атомом? Или здесь происходили какие-то другие, более простые или более сложные процессы? И вообще, может быть, это не имеет никакого отно-



шения к валяющемуся на газоне стадиона беспамятному и бесчувственному Позднякову? Пьяному? Или все-таки отравленному?

— Это вас не касается, — сказала Анна Васильевна. На тяжелом ее лице быстрые глаза в длинных ресницах скользили легко, почти незаметно. — Я вам повторяю, что вы не вправе задавать мне такие вопросы...

— А почему? — удивился я, ощущая, как моя настырность крепнет на жестком каркасе злости. А допытывался я, почему они с мужем не разведятся, коли все равно уже несколько лет не живут семьей.

— Потому что это наше личное дело.

— Да, так оно и было до того момента, пока не произошла эта история. А теперь это уже и наше дело.

— Вот пусть он и оправдывается перед вами, а вы меня в эту историю не вмешивайте...

Скверная баба какая! Мне стало почему-то жалко, что она знает столько прекрасных премудростей о тайнах вещества с удивительной схемой-формулой, похожей на пчелиные соты, и на фрагмент циклопической кладки, и на старый лабиринт, и на придуманное космическое сооружение. Конечно, лучше было бы, если бы это знание досталось человеку поприятнее. Но знание не получают в наследство — его получают те, кто достоин. «За партой, случилось, засыпала»...

## ГЛАВА 5

Замигал глазок сигнальной лампочки на селекторе.

— Погоди, сейчас договорим, — сказал Шарапов и снял трубку. — Слушаю. Здравствуйте. Да, мне докладывали. Я в курсе. Да не пересказывайте мне все сначала — я же вам сказал, что знаю. А куда его — в желудочный санаторий? Конечно, в КПЗ. Ответственный работник? Ну и что? Безответственных работников вообще не должно быть, а коли случаются, то надо их метлой гнать. Послушайте, несерьезный это разговор: нечаянно можно обе ноги в штанину засунуть, а кидаться бутылками в ресторане можно только нарочно. Тоже мне купец Иголкин отыскался! Чего же тут не понимать — я понимаю. Но я думаю, что дела надо решать в соответствии с законом, а не с вашим личным положением — удобно это вам или неудобно. Вот так-то. Мое почтение...

Генерал положил трубку на рычаг, задумчиво спросил меня:

— Слушай, Стас, а ты часто бываешь в ресторанах?

— Десять дней после получки — часто.

— А я почти совсем не бываю. Давай как-нибудь вдвоем сходим. Я тебя приглашаю.

— Давайте сходим. Бутылками покидаемся?

— Да мы уж с тобой как-нибудь так обойдемся, без метания предметов. Эх, с делами бы нам только раскрутиться. Ну ладно, продолжим. Значит, напугала тебя сугубая научность этого вопроса. И ты считаешь, что в этих тонкостях тебе не разобраться? Так я понял?

— Приблизительно. А Позднякова я считаю невиновным.

— Это хорошо, — кивнул генерал и еле заметно усмехнулся. — Только перепутал ты все...

— Чего я перепутал?

— Задание свое. Кабы пришла к тебе жена Позднякова и попросила по дружбе вашей старинной, чтобы ты проверил, не позволяет ли себе ее муж изменять брачному обету, то ее, может быть, и устроил такой ответ: «Считаю невиновным». А меня, прости уж великодушно, не устраивает. Твоя вера — это хорошо, но мне доказательства нужны.

— Но я столкнулся здесь с вопросами, в которых просто ничего не смыслу. Не понимаю я этого.

— А почему не понимаешь? — деловито спросил Шарапов.

— То есть как почему? Для этого нужна специальная подготовка, образование...

— Есть. Все это у тебя есть...

Я вышел из терпения:

— Что есть? Образование? На юридическом факультете курс высокомолекулярных соединений не читают, органическую химию не проходят, а на всю судебную психиатрию отпущено 60 часов.

— Не знаю, я заочный окончил, — пожал плечами Шарапов. — А здесь у нас, в МУРе, учат праматери всех наук — умению разбираться в людях. И у меня были случаи убедить-ся, что ты эту науку в некотором роде постигаешь.

Я сидел, опустив голову. Генерал засмеялся:

— Ну, что ты сидишь унылый, как... это... ну?.. Тебе там не в формулах надо было разбираться. — Он заглянул в лежащий перед ним рапорт. — Метапропизол этот самый не самогонка, его в подполе из соковарки не нагонишь. И кирпичик этот мог положить только большой специалист. Очень меня интересует этот специалист, вот давай и поищем его.

— Есть, буду искать. Я только боюсь, что завязано это все на каком-то недоразумении...

— Не бойся, нет тут никакого недоразумения. Сегодня совершено мошенничество — «самочинка». У гражданки Пачкалиной два афериста, назвавшиеся работниками милиции, произвели дома обыск, изъяв все ценности и деньги.

— А какое это имеет?..

— Имеет. Они предъявили наше удостоверение, и потерпевшая запомнила, что там было написано «капитан милиции Поздняков»...

Из объяснительной записки и протокола допроса потерпевшей в отделении милиции я уже знал, что гражданке Пачкалиной Екатерине Федоровне тридцать два года, работает газовщиком-оператором в районной котельной, проживает на жилплощади матери-пенсионерки, образование — семь классов, ранее несудима. И теперь смотрел на ее прическу, похожую на плетеный батон «халу», морковное пятно губной помады, слушал ее тягучий вялый говор без всяких интонаций и мучительно старался вспомнить, где я видел ее раньше. Моя профессиональная память, отточенная необходимостью ничего не забывать навсегда, порою становилась палачом, мучителем моим, ибо встреченные спустя годы полузабытое лицо или выветрившееся

имя начинали истязать мозг неотступно, безжалостно и методично, как зубная боль, и избавиться от этого наваждения можно было, только вырвав из тьмы забвения далекий миг — когда, где и при каких обстоятельствах возникло это лицо или прозвучало имя. И тогда это воспоминание — пустяковое, незначительное, чаще всего не имеющее отношения к делу, — приносило успокоение. А сейчас я смотрел на Пачкалина, слушал, и слабое ощущение, что уже когда-то видел ее, превратилось в уверенность. Вот только, где и когда, не мог я вспомнить.

— ...Я женщина одинокая. Одинокая, значит. Приходят ко мне иногда мужчины молодые, конечно. Молодые, конечно. А мать у меня, как говорится, старуха суровая. Суровая, как говорится. И отношения у нас с нею неважные. Неважные, значит...

Вот так она неспешно долдонила, повторяя каждую фразу, будто сама себя уговаривала, что все сказала верно, правильно, ни в чем не ошиблась, значит.

— Давайте еще раз вспомним, что забрали преступники, — сказал я.

— А чего вспоминать? — удивилась Пачкалина. — Вспоминать, значит, зачем? Я разве забыла? Разве такое забудешь — я все помню. Значит, пришли они и говорят, что из милиции, из обэхэеса, как говорится, обыск, говорят, будем делать, нетрудовые ценности изымать...

— Да-да, это я знаю, — перебил я. Меня сместило, что Пачкалина персонифицировала ОБХСС в какое-то одушевленное существо и все время говорила: «обэхэес пришел», «обэхэес стал обыск делать», «обэхэес сказал...»

— Ну, вот эти самые и наизымали, конечно. Шубу каракулевую, как говорится, новую, совсем, ненадеванную, считай. Считай, новую...

Пачкалина передохнула, из горла у нее вырвался низкий клочущий звук, и вдруг все ее лицо словно расплзлось на кусочки: опустился нос, поехал в сторону крупный, ярко намазанный рот, широко раскрылись веки — чтобы слезы не смыли с ресниц тушь, — со стороны казалось, будто незаметно ей вывернули где-то на затылке стопорный винт и все части лица рассыпались, как на сборной игрушке. Плакала она басом, зло и обиженно.

Я налил ей стакан воды, Пачкалина выпила его разом. Прислушиваясь к ее булькающему плачу — о-о-лё-лё-о-о, — я вдруг вспомнил, откуда знаю потерпевшую. И удивился, что так долго не мог вспомнить ее — она ведь и внешне мало изменилась, разве чуть растолстела.

— Успокойтесь, успокойтесь, Екатерина Федоровна, — сказал я, — тут слезами делу не поможешь, надо подумать, как их разыскать скорее.

Пачкалина успокоилась так же внезапно, как и зарыдала.

— Как же, разыщешь их, — сказала она мрачно. — Ищи-свищи теперь. Теперь ищи их, свищи, как говорится, ветра в поле. Значит, кроме шубы, взяли они два кольца моих, один с бриллиантом, а другой с зелененьким камешком. Да, с камешком, значит, зелененьким. Сережки, конечно, тоже забрали...

— Зеленый камешек — самоцвет, что ли?

— Как же — самоцвет! Изумруд.

— У-гу, понятно, изумруд. А бриллиантик какой?

— Какой — обыкновенный. Что я, ювелир, что ли?

— Подумайте еще раз над моим вопросом. Мы должны подробно описать для розыска кольцо — это в ваших же интересах.

— Ну обыкновенный бриллиант, значит. Конечно, два карата в ём есть.

Я улыбнулся:

— Два карата — это не обычный бриллиант. Это крупный бриллиант. Ну да бог с ним. Из денег что взяли?

— Так ведь говорила я уже — книжек предьявительских на четыре с половиной тысячи. Предьявительских книжек, как говорится, три штуки забрали.

Я взял ручку и придвинул к себе лист бумаги:

— В каких сберкассах были помещены вклады?

— Да не помню я. Не помню я, значит, в какую кассу клала.

Я с удивлением воззрился на нее:

— То есть как не помните? Не помните сберкассу, в которой храните четыре с половиной тысячи?

— Вот и не помню! Да и чего мне помнить было, когда там на книжке, значит, написано было — и номер и адрес! Кто же знал, что из обэхеэса эти, ну, то есть, я говорю, аферисты самые, заявятся...

И она снова зарыдала — искренне, горестно, ненавидяще. Вот так же она рыдала десять лет тому назад, когда молоденький лейтенант Тихонов опечатывал ее пивной ларек на станции Лианозово, в котором оказалось «левых» сорок килограммов красной икры. По стоимости сорока килограммов кетовой икры хищение тянуло на часть вторую статьи девяносто второй Уголовного кодекса — от пяти до десяти лет. Тогда Пачкалина, которая в те времена еще была не Пачкалина, а Краснухина, а среди завсегдатаев ее забегаловки больше была известна под прозвищем Катька-Катафалк, стала объяснять мне со всеми своими бесконечными «как говорится, конечно, значит», что икры здесь не сорок килограммов, а только двадцать — остальное пиво, и я совсем не мог сообразить, при чем здесь пиво, пока после ста повторов не уяснил, что, как говорится-конечно-значит, пиво, налитое в кетовую икру, начиняет подбуживать, впитывается, каждая икринка набухает и становится еще аппетитнее. И тут надо только постараться мгновенно распродать товар, чтобы он весь не прокис, лучше всего на бутербродах: порция слишком мала, чтобы испортить желудок, а самый бережливый не станет держать впрок. Вместе с мрачным мужчиной из торгинспекции и общественным контролером я снял остатки, изъял кассу и опечата ларек — вот тогда Краснухина зло и испуганно зарыдала басом. Я привез ее в райотдел милиции и больше не видел — мне подкинули какое-то другое дело.

А теперь она была потерпевшей. Одинокая женщина, оператор в котельной, а попросту говоря — кочегар, у которой мошенники изъяли два драгоценных кольца, серьги, каракулевое манто и на четыре с половиной тысячи сберкнижек...

Я долго барабанил пальцами по столу, потом спросил:

— Объясните мне, Екатерина Федоровна, такую несуразность: как же это получается, что к вам, одинокой, бедной женщине,

честной труженице, приходят якобы из милиции, производят обыск и изымают более чем на десять тысяч ценностей, и вы, рабочий человек, которому нечего терять и некого бояться, не говоря худого слова, все это отдаете им?

— А что? — спросила она.

— Да ничего, только непонятно это мне. Вот у меня, к сожалению, нет десяти тысяч, но если бы кто угодно попробовал у меня взять хоть десять рублей, я бы сильно возражал.

— Да-а! Вам хорошо — вы начальники, конечно, а коли к женщине одинокой пришел обэхэес — что же мне, значит, драться с ним?

— Драться ни с кем не следует, но у меня есть впечатление, что, если бы кто-то попробовал изъять вашу зарплату в котельной, вы бы ему глаза вырвали.

Огорченно-тупое выражение медленно стекало с ее лица.

— Это как же вас понимать, как говорится? Значит, по-вашему, выходит, что вовсе жулики эти правы, а не я? А не я, значит?

— Ни в коем случае. Вы меня неправильно поняли. Или не захотели понять. Я к тому веду, что кто-то знал о ваших ценностях. А знать это мог только человек, который и мысли не допускает, что вы живете на свою зарплату кочегара.

Лицо Пачкалиной побарговело, она наклонила голову вперед, будто собралась бодаться.

— А вы моих денег не считайте! Я по закону живу, ничего не нарушаю. Не нарушаю, значит!..

Я покачал головой:

— Вы бы вот таким макаром с жуликами разговаривали. А со мной чего вам препираться, я ведь сейчас не расследую, с каких вы денег живете. Кстати, почему вы пишете, что не судимы?

— Амнистия потому что была! С тех пор я полноправная! Несудимая, значит.

— А-а! Это я не подумал. А вы меня вспомнили, Екатерина Федоровна?

— А то нет! Как говорится, конечно-значит, вспомнила. Сразу. Хоть тогда вы и молоденький были, по пустым делам бегали. А сейчас небось, как говорится, кабинет отдельный...

— Имеет место. Теперь давайте снова вспоминать, как вы глядели аферисты.

— Люди они молодые. Молодые, значит. Высокие оба, конечно. Один — чернявенький, вроде бы он армян или грузинец, или еще, может, еврейской национальности, значит. А второй, наоборот, весь из себя беленький, и на щеке — шрам, как говорится...

Постепенно успокоившись, Пачкалина сидела и не спеша описывала жуликов. А я все время пытался понять, почему Пачкалина не знает, в какие сберкассы были внесены вклады: забыть этого она не могла, это она явную чушь несет. Может быть, она у себя держала чужие деньги? Чьи? Этим надо будет заняться всерьез, потому что отсюда может быть выход на аферистов. Но ведь это не просто аферисты — они предъявили удостоверение капитана Позднякова. В общем, если отбросить всю лишнюю шелуху, надо искать человека, у которого в руках находилось могущественное, неизвестное науке лекарство, кото-

рый хорошо знает, что Поздняков всегда ходит с оружием, а у Екатерины Пачкалиной хранятся дома немалые ценности. Задача несложная, элегантная и многообещающая.

Но пока что надо было ехать в МУР, предъявлять Пачкалиной альбомы с фотографиями известных милиции мошенников — это было первым действием в решении возникшей передо мною задачи.

Пока я выписывал пропуск, Пачкалина с интересом и некоторым испугом оглядывала помещение приемной — в МУРе она была впервые. Мы поднялись в канцелярию, где меня уже ждал инспектор шестого отдела Коля Спиркин, великий спец по всякого рода мошенничествам. Коля провел нас в свой кабинет, который на свежего человека должен был производить впечатление ошеломляющее: какие-то огромные свертки с коврами валялись на полу, на стульях были сложены груды цветастых платков, около окна возвышалась целая пирамида поношенных разномастных чемоданов, большой письменный стол усеян обрезками бумаги, игральными картами, фотографиями, ключьями ярко-оранжевой, с переливами, парчи — вещественными доказательствами разносторонней и активной деятельности Колиных поднадзорных. Вдоль стен шли стеллажи, на которых были прикреплены скромные рукописные плакатики: «РАЗГОН», «БРИЛЛИАНТЫ», «КУКЛЫ ДЕНЕЖНЫЕ», «КУКЛЫ ВЕЩЕВЫЕ», «ФАРМАЗОН», «АФЕРИСТЫ», «КАРТЕЖНИКИ», «ЖЕНИХИ». На стеллажах размещались альбомы с фотографиями деятелей, облюбовавших одну из этих специальностей, и потерпевшим их предъявляли с целью опознания. Я вспомнил еще один плакатик, нарисованный лично Колей и вывешенный на видном месте: «ОПОЗНАНИЕ ПРЕСТУПНИКА — ДЕЛО ЧЕСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО!», но начальство, как водится, не оценило Колиного юмора, и плакатик пришлось снять.

— В общем, альбомы — вчерашний день криминалистики, — сказал Коля непринужденно. — Как раз сейчас мы переводимся на централизованный машинный учет: зарядил карточку с приметами и специализацией преступника, и через две минуты получаешь ограниченное количество фотоснимков. — Он вздохнул и, подвинув стремянку к стеллажам, полез к полке с надписью «Разгон». — Но пока что сотен шесть картинок просмотреть придется... Сначала посмотрим профессиональных «разгонщиков», если не найдем, тогда остальных...

— А остальных-то зачем? — спросил я.

— Да они не стабильные какие-то. — с огорчением сказал Коля. — Вчера он «куклы подкидывал», завтра будет фармазонить. А сегодня, глядишь, самочинный обыск зарядил...

Коля выложил на стол несколько больших, в разноцветных коленкорových переплетах альбомов, придвинул один из них к Пачкалиной:

— Пожалуйста, гражданочка. Не спешите, разглядывайте внимательно.

Пачкалина недоверчиво посмотрела на вихрастого Колю, который в свои тридцать лет выглядел в лучшем случае первокурсником-студентом, и открыла альбом. Я сидел рядом с нею

и тоже с интересом разглядывал снимки — мне ведь по моей специальности делать это нечасто приходится, хотя я знаю кое-кого из жуликов, представленных в Колиной коллекции.

Пачкалина загляделась на Олега Могилевского по кличке «Портвейн». Лицо красивое, мягкое, густые темные кудри до плеч, по-детски пухлые губы, огромные чистые глаза в пушистых девичьих ресницах, кокетливый наклон головы... Не хватает только надписи в завитушках: «Люблю свою любку, как голубь голубку»...

Нежный красавец этот не так давно приглядел одного деятеля — заведующего плодоовощной базой. И решил «взять» его профессионально. С друзьями своими устроил за ним плотную слежку, фотографировал машины с овощами, которые, по его расчетам, «налево» уходили, словом, досье на него такое оформил, что в ОБХСС зашлись бы от зависти. В один прекрасный день является к заведующему домой, с ним двое в форме, понятых берут: обыск. Заведующий трясется, да куда денешься? Пока те двое ищут, Портвейн уселся хозяина допрашивать — документы, фотографии ему предъявляет: вы, мол, установленный жулик и доказанный расхититель собственности. Заведующий покряхтел и сознался, показания собственноручно записал и поставил подпись свою. Забрали у него разгонщики тысяч двадцать, вещей ценных два чемодана и удалились, отобрав подписку о невыезде с места жительства.

Так бы все и обошлось, если бы сосед-понятый не стал по разным инстанциям жаловаться: жулика вроде разоблачили в моем присутствии, а он живет себе на воле и в ус не дует...

Пачкалина листала альбом, время от времени отирая кружевным платочком выступавшую на лбу от напряжения испарину, иногда задерживалась на каком-нибудь снимке, рассматривала и, как бы сама себе отвечая, отрицательно покачивала головой, листала дальше. Уже в конце первого альбома остановилась на персонаже с удивленным лицом и ангельски-невинными глазами, вопросительно посмотрела на Колю.

— Нет, нет, — уверенно сказал Коля. — Этот сидит. Рудик Вышеградский, он же Шульц, кличка Марчелло. Отбывает с 13 марта по приговору народного суда Свердловского района.

Пачкалина понимающе кивнула и перешла к следующему альбому. Мало-помалу она увлеклась этим занятием, и теперь, когда она хоть на время забыла о своей беде, вид у нее был такой, будто пришла она в гости в солидный семейный дом, и пока хозяйка, подруга ее задушевная, готовит угощение, она коротает время, рассматривая фотографии подруги, друзей ее и любимых родственников.

Коля Спиркин, наверное, знал, что с его посетителями время от времени происходят такие вещи, поэтому он сказал Пачкалиной вежливо:

— Вы, гражданочка, пожалуйста, от своего дела мыслями не отвлекайтесь, держите перед собой образ преступника. А то и запутаться недолго, если просто так разглядывать, любоваться на них... — И широко ухмыльнулся: — Они ведь у нас красавчики...

Они и впрямь были красавчики — Бичико, Монгол, Шпак, Котеночек, Портной, Берем-Едем и многие другие все, как на

подбор: симпатичные и приветливые лица, честные, доверчивые глаза. Это, конечно, не удивительно — ведь приятная внешность — их профессиональный «инструмент», своего рода отмычка, способ отбирать деньги без помощи грубой силы, а как еще влезть в душу «лоху» — это они так своих простодушных клиентов именуют, наверное, сокращенно от слова «лопух».

Разглядывая их вместе с Пачкалиной, я подумал, что они здорово опровергают Чезаре Ломброзо с его теорией биологической предрасположенности преступников. По его мнению, выходило, что у преступников по сравнению с нормальным человеком обязательно искажены черты лица — разные там лицевые углы и тому подобное, и в результате у них звероподобная, чисто «уголовная» физиономия, так называемый «тип Ломброзо». И я вспомнил, что, приняв у себя в Ясной Поляне Ломброзо, Лев Толстой, хоть и не юрист и не антрополог по специальности, записал в дневнике: «Был Ломброзо, ограниченный, наивный старичок».

— Кажись, вот на этого похож, — ткнула пальцем Пачкалина в снимок, с которого нахально улыбался круглолицый курносый субъект с ямочками на щеках.

— Может, и похож, — сказал Коля, — только к вашему случаю он не подходит. Это Сеня Табуретка, безногий, — и пояснил: — Он на тележке такой, вроде табуреточки на колесиках, катается. Поэтому и прозвали его соответственно.

— Ой-ей, — посочувствовала Пачкалина, еще раз посмотрела на снимок и задумчиво спросила: — Он тоже жулик?

— А как же, — весело ответил Коля. — Здесь все жулики.

Пачкалина помялась немного, но, видимо, очень хотелось спросить, и она спросила:

— Так ведь без ног-то, откровенно говоря, как он... ну, это самое?..

Коля засмеялся:

— Жульничает? Ха! Он ведь не карманник, для его специальности в первую очередь голова нужна, а не ноги!

— Понятно, — кивнула Пачкалина и вздохнула: — Вот ведь люди какие странные — покарал бог с ногами, а он всё не унимается...

Часа два еще мы рассматривали с ней фотоснимки, приглядывались к похожим, сопоставляли их с данными картотеки, но ничего интересного не нашли. Закрывая последний альбом, Пачкалина длинно вздохнула и сказала:

— Нет их здесь, значит... — И в голосе ее мне послышались разочарование и укор: что же это, мол, мы с Колей так не постарались, штук сорок альбомов по полкам распахали, а тех жуликов, ее единственных, сюда не включили; на кой же они нужны тогда, эти альбомы? Так, пустая и никчемная забава...

Сегодня мне предстояло покончить еще с одним нудным делом. По плану значилось: «Выяснить истинную позицию Фимотина», и хотя тащиться к нему на кулички чертовски не хотелось, отступить от принятых обязательств не в моих правилах.

Странное все-таки впечатление осталось у меня от первого разговора с Фимотиным. Как он в цвет точнехонько попал с



красной книжечкой и пистолетом! Конечно, если допустить, что он встречал Позднякова «под градусом», тогда подобное предположение лежит, так сказать, на поверхности — действительно, что еще украсть можно у милиционера? Ну а если он, мягко говоря, преувеличивает? Если, мягко говоря, домыслил насчет пьянства участкового? Какую роль играет он в этом случае? Прорицатель, этакий пифий в «олимпийском» костюме? Или ординарный кверулянт, профессиональный загрязнитель чужих репутаций? Или... Или есть еще вариант — что он об этом эпизоде, о краже удостоверения и оружия просто знает? Знает о том, что никому, кроме милиции и отравителя, неизвестно?

— ...В прошлый раз вы говорили, Виссарион Эмильевич, о неблагоприятии в семье Позднякова. Я бы хотел остановиться на этом вопросе подробнее.

Нынче был Фимотин что-то не в настроении, принимал меня далеко не так радушно, как в прошлый раз, настойкой заморского гриба не угощал и вообще был явно удивлен моему повторному визиту — очевидно, у него были иные представления об инспекторских проверках.

— Позволю себе не поскромничать, я, так сказать, свой гражданский долг выполнил, — говорил он, теребя рыжеватые свои усы. — О своих объективных наблюдениях вам подробно доложил... — И весь его вид свидетельствовал о недовольстве и некотором даже возмущении: человека спросили, он все честно, как надо, объективно доложил, а теперь за это снова его беспокоят, как свидетеля какого-нибудь, допрашивают до ногтя, дорогое пенсионерское время транжирят. — Ваша теперь забота — выводы делать.

— Так в том-то и дело, дорогой Виссарион Эмильевич, что у нас для выводов фактов не хватает. А за выводами дело не станет.

— А какие же еще вам факты нужны? — удивился Фимотин.

— Ну вот хотя бы насчет неблагоприятия в семье. Помнится, вы так буквально выразились: «Неподходящая, по моим сведениям, у него дома обстановка».

— Я и сейчас подтверждаю...

— Вот-вот. Я насчет сведений этих, нельзя ли поподробнее?

Фимотин задумался, потом сказал медленно, растягивая слова:

— Вы уж прямо на словах ловите, товарищ инспектор. Я ведь не то что там имел в виду официальную какую-то информацию...

— Да боже упаси. Просто меня факты интересуют.

— Понимаете, факт факту рознь. Для наблюдательного человека маленький штришок какой-нибудь, деталька — уже факт, почва, так сказать, для умозаключений...

Я внимательно посмотрел на него:

— Что-то я никак вас не пойму, Виссарион Эмильевич.

— Да тут и понимать нечего, — сердито сказал Фимотин. — Белые пуговицы к сорочке черной ниткой пришиты — это ведь пустячок. Офицер милиции в полной форме несет к себе домой пельмени, либо микояновские котлеты готовые — пустяк? А большей частью в столовой обедает — ерунда? Ага. Но кто, как го-

ворится, не слеп — тот видит: дома или там семьи у человека нет. Нет! — с торжеством закончил он.

— Но я тоже домой пельмени покупаю, — с недоумением сказал я. — Это же еще ничего не значит.

— Вы себя с Поздняковым не равняйте, — возразил Фимотин. — Вы человек молодой, и супруга ваша, надо полагать, еще готовить не обучилась, все, как говорится, впереди...

— У меня действительно все впереди, — заметил я, — поскольку я еще и супругой не обзавелся.

— Тем более! — Фимотин воздел палец. — А Поздняков обзавелся. Да еще какой! Анна Васильевна человек настоящий, ученый, можно сказать, а связалась с этим... Э-э! Я вам вот что скажу: когда у генерала жена ничтожная, она все одно — генеральша. А когда у профессорши, вот скажем, как у Желонкиной, муж милиционер, то и она, выходит, — милиционерша!

— Ну и что?..

— А то, что стыдится она его, и жить с ним не хочет, а надо...

— Да откуда вы все это знаете? — спросил я сердито.

— Знаю, и все... — Фимотин походил по комнате, досадливо кряхтя и вздыхая, остановился передо мной, взял меня за пуговицу: — Сын мой с ихней дочкой знаком.

Вот что! Ну, это другое дело. С Дашей Поздняковой я уже разговаривал: симпатичная девчурка, горячо любит отца, защищала его как могла. Прилежная студентка, мать свою очень уважает, удручена семейной ситуацией, хотя разобраться в ней по младости еще не может...

Я достал из портфеля, протянул Фимотину бланк протокола:

— Напишите, пожалуйста, все, о чем мы с вами говорили.

Фимотин отказался наотрез:

— С какой стати я еще чего-то писать обязан? Разве моего слова недостаточно? — и съехидничал: — Или вам на слово не верят?

— Вопрос не в этом. Просто у нас делопроизводство по закону — в письменной форме, — улынулся я. — Да что вам стоит написать? Вы же не отказываетесь от того, что видели Позднякова нетрезвым?

— Что значит — не отказываюсь... — пробормотал Фимотин. — Я ведь сказал, что думал... А вдруг он не пьяный был, вдруг мне показалось? Я вот так, за здорово живешь, напраслину на человека писать не буду.

— А сказать инспектору вот так, за здорово живешь, можно?

— Я только о своих наблюдениях вам сообщил... Ну неофициально, что ли.

— Ну, конечно... А может, это и не наблюдения вовсе ваши, а предположения были, а? Так же, как и «прозорливость» ваша? Ведь вы же не то, чтобы догадались, или предвидели, или почувствовали, что Поздняков в пьяном виде на газоне заснет, и у него удостоверение и оружие вытащат. Вы это знали — вам сын рассказал!

Фимотин резко повернулся ко мне, сказал резко:

— Ну и сын! Ну и знал! И что с этого? Неправда, что ли? Напился и валялся, как свинья. Я и знал, что так будет!

— Откуда же вы это знали?

— А откуда, что Поздняков ваш — хамло, жлоб! Милицио-

нер — он миллионер и есть, все они пьяницы! — голос Фимоти-на неожиданно переломился, стал умильным, почтительным и сочувственным: — Анна Васильевна — вот человек, профессор, а этот хам жизнь ей заел... Дурочка она, давно надо было в руководящие инстанции писать, гнать его в три шеи с квартиры!

Сдерживая душившую меня злость, я сказал вежливо и тихо: — Вы себя интеллигентом считаете. И Желонкина вам импортирует, тем более что почти профессор она, и квартира у нее трехкомнатная — есть где сыну с молодой семьей поселиться, ваш покой на старости не ломать. Одна только преграда — Поздняков там проживает, под ногами путается. А тут случай такой — сам в руки катит. Отчего же не накапать, втихую этак, ядовитенько и безответственно. А? Позднякова из милиции выгнать, глядишь, и Желонкина от него избавится: вам ведь такой свояк — в чоботах — не нужен? Только не получится по-вашему, не надейтесь... — Я перевел дух и закончил: — С Дашей я разговаривал, хорошая она девушка. Вашего парня, Виссарийон Эмильевич, я не знаю. Но на одно надеюсь: что он, Иван Виссарионович, сын ваш, совсем на вас не похож...

## ГЛАВА 6

На Бережковской набережной, в той части, что ближе к окружному железнодорожному мосту, хорошо думать. В любое время пусто на тротуаре около чугунной решетки. Здесь мало жилых домов — одни учреждения, служащим некогда прогуливаться над рекой, утром они торопятся на службу, вечером спешат домой.

А сейчас я стоял совсем один, опершись на решетку, и смотрел на серую воду, измятую свежим сентябрьским ветерком и белоснежным прогудочным корабликом, спешившим от Киевского вокзала к Лужникам. Вдали, над мостом, повис в мутной синеве трезубец университета, контур его был размыт расстоянием и косым осенним солнцем, и отсюда выглядел он сооружением сказочным, ненастоящим, как замок Пьерфон. А на другой стороне реки золотились тугие маковки куполов Новодевичьего монастыря, и красные кирпичные стены его словно подгрунтовывали тяжелую усталую зелень старых садов.

Думать здесь было хорошо, но оказался я на набережной не потому, что больше мне подумать негде было, а потому, что десять минут назад я вышел из Центральной патентной библиотеки, расположенной как раз за моей спиной, и застрял на этой пустынной набережной, где было тихо, ветер носил вялые речные запахи, и блеклый свет почти не оставлял теней.

В кармане у меня лежал листок с номерами и названиями одиннадцати авторских свидетельств, которые мне подобрали за три часа — сам бы я их не собрал и за три года. Как любит говорить Шарапов: «Все уже в мире давным-давно известно, надо только знать, где и у кого спросить». Но, проснувшись сегодня утром, я неожиданно — толчком, будто кто-то отчетливо и внятно произнес эти слова вслух, — понял самое главное: мне надо знать не где и не у кого, а о чем спрашивать.

Спрашивать надо было о работах Панафидина. За последний год. За десятилетие. За всю его научную жизнь.

Синтезом и применением транквилизаторов он занимается шестнадцать лет. Всего зарегистрировано на его имя двадцать четыре авторских свидетельства. Все они получены им в соавторстве с другими учеными — и это естественно, алхимический век давно миновал. Но не будучи специалистом-химиком, я должен был чисто человеческим или сыщицким разумением — сейчас это было равнозначно — сформулировать для себя принцип, по которому надлежало отобрать тех людей, которые могли участвовать в создании метапропизола. Среди ученых, искавших для людей добро, мне надо было вычислить кандидата в подозреваемые. При этом я не настаивал на том, чтобы он обязательно был очень обаятельным и симпатичным. С противным я бы тоже охотно потолковал.

Я впервые в жизни держал в руках свидетельство на открытие, документ, который в просторечии мы обычно называем патентом — тетрадь, прошнурованную шелковой лентой и скрепленную огромной алой гербовой печатью. Титульный лист, зеленовато-синий, на водяной бумаге, был похож на старые, военных времен облигации — под виньеткой из лавровых листьев вздымались домы, гидростанции, комбайны, вышки.

*Авторское свидетельство № 297657.*

*Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР выдал настоящее свидетельство на изобретение «Способ получения и применения в психотерапии полиамидинов» по заявке № 138293 с приоритетом от 24 ноября 1963 года.*

*Авторы изобретения: Панафидин Александр Николаевич и другие, указанные в прилагаемом описании.*

*Зарегистрировано в Государственном регестре изобретений Союза ССР*

*18 декабря 1970 г.*

*Действие авторского свидетельства распространяется на всю территорию Союза ССР.*

*Председатель Комитета.*

За титульным листом шло подробное описание, которое возглавляла графа — АВТОРЫ.

Те самые «другие», кроме самого Панафидина.

И среди них была А. В. Желонкина!

Соавторами Панафидина по 24 свидетельствам было зарегистрировано сорок два специалиста. По разным работам число их колебалось от одного до семи человек. В первых трех работах его фамилия завершает список авторов. В последних семи — он возглавляет группу исследователей. В остальных свидетельствах его имя постепенно смещается от конца к началу. Получалась довольно занятая диаграмма восхождения человека по научной лестнице.

Но творческая карьера Панафидина сейчас интересовала меня только как метод отыскания его более удачливого соперника в поисках метапропизола. Ведь Панафидин наиболее сосредоточенно и целенаправленно работал над этой проблемой, судя по всему, продвинулся в ее решении дальше остальных, и вдруг мы находим в пивной пробке вещество, которое безуспешно пытается создать целая лаборатория. Но если в пробке был действи-

тельно метапропизол, если это не «артефакт», то почему же автор его не заявил об открытии? И почему им травят Позднякова?

Стоп! Стоп! Я снова начинаю уклоняться. Будем исходить из того, что метапропизол существует, хотя на него и не подано авторской заявки. Получить его случайно, не имея перед собой ясно осознанной цели, практически невозможно. Значит, его синтезировал человек, который так или иначе был причастен к работе над транквилизаторами. Панафидин занимается этой проблемой, по существу, с момента ее возникновения. Все или почти все ученые, всерьез интересовавшиеся данным вопросом, контактировали с Панафидиным, все они знают друг друга, обмениваются информацией, готовят совместные труды и авторские заявки. Так что гений-одиночка, вчера задумавшийся над созданием метапропизола, сегодня получить его не мог. Значит, скорее всего создатель этого гиганта транквилизатора должен быть хоть раз поименован в списке соавторов Панафидина. Скорее всего...

Но кто он — один из сорока двух?

Справка об авторах слабо проясняла этот вопрос. Некоторые работали или сейчас работают вместе с Панафидиным, другие — из смежных лабораторий и институтов. В списке соавторов Панафидина были люди, подписавшие с ним одну-две работы и исчезнувшие навсегда, участие других было более стабильным. Некоторые соавторы занимали, совершенно очевидно, более высокое место в научном мире, другие поменьше, но и здесь не было четкой картины, потому что, по мере восхождения Панафидина, верхняя ступенька постепенно освобождалась для него персонально.

Самого Панафидина я не подозревал. Не потому, что он мне так симпатичен. Но он сам отдал бы все на свете за одну молекулу метапропизола, да только ее у него не было.

Долго я раздумывал над фамилиями. И в конце концов отобрал три.

Доктор химических наук профессор Илья Петрович Благолепов.

Младший научный сотрудник Владимир Константинович Лыжин.

Кандидат химических наук Анна Васильевна Желонкина.

В первых авторских свидетельствах жена Позднякова фигурирует еще не как кандидат наук, она еще не доцент, это очень давние свидетельства — от августа 1962 и января 1963 года, она еще заявлена как младший научный сотрудник без степени, просто — «инженер А. В. Желонкина». И по времени эти заявки отделены от гипертранквилизатора почти десятью годами — очень длинным сроком, в течение которого она писала свою диссертацию, становилась настоящим ученым, и тогда она еще не говорила, что «наша семья фактически распалась», а ее муж по-прежнему ловил самогонщиков, и хулиганам укорот давал, и тунеядцев выселял, и бежавших с отсидки за шиворот брал, пьяниц гонял, пока не глотнул однажды удивительного порошка, способного освободить тысячи людей от мрака безумия и невыносимого бремени страха, а его самого швырнувшего на самое дно позора, обречшего на беспросветную муку — необходимость

доказывать всем правдивость невероятной истории, приключившейся с ним.

Давно подавали заявки жена Позднякова и Панафидин, но это не имело значения, и в список свой я ее все-таки включил, потому что считать случайным совпадением работу Желонкиной над транквилизаторами, распад ее семьи и отравление Позднякова было бы с моей стороны неправильным. Ей-богу, у меня не было никаких серьезных подозрений против нее, но присмотреться к ней внимательнее мне казалось просто необходимым.

Вторым претендентом в моем турнире с сомнительными призами оказался м. н. с. — младший научный сотрудник — Лыжин. Выбор этой персоны был продиктован тремя обстоятельствами. Во-первых, он больше, чем все остальные, работал вместе с Панафидиным — им было выдано одиннадцать совместных авторских свидетельств. Во-вторых, он был соавтором тех же работ, в которых принимала участие Желонкина.

В-третьих, последнее их общее свидетельство было зарегистрировано около пяти лет назад, после чего в выходе научной продукции Панафидина возникает многозначительная пауза длиной в три года. Потом у Панафидина сразу огромный рывок, а Лыжин исчезает совсем.

Последнюю вакансию я заместил профессором Благолеповым — его имя значилось первым во всех ранних работах Панафидина, из чего я сделал вывод, что профессор скорее всего был его научным руководителем. Совместных свидетельств семь.

Вот о чем я неспешно раздумывал, стоя у парапета над пустынной осенней рекой. Чайки резко пикировали на серую маслянистую воду, пронзительно кричали острыми кошачьими головами. Грудастый, астматически-задушливый буксир тянул против течения большую баржу, на которой был выстроен целый домик — со скамейкой под окнами, печной трубой, на веревке сохло женское белье.

В общем, принцип отбора фигурантов, придуманный мною, был не бог весть какой замечательный — арифметики в нем было гораздо больше, чем логики и причинно-следственного анализа. Но поразмыслить тут было над чем. Ведь не случайно встретились и работали Панафидин с Лыжиным, коли вместе запатентовали двенадцать серьезных научных работ. А потом Лыжин исчез. Но он же только из картотеки патентного бюро исчез — из жизни-то не исчез, наверное. А почему с Панафидиным разошлись? Впрочем, чепуха все это. Женится и уехал в Елец, например, вот тебе и весь секрет.

— А почему вы этим интересуетесь? — настороженно спросил Благолепов.

— Потому что у меня сложилось неприятное впечатление, будто крупному научному открытию дал путевку в жизнь преступник. Или, во всяком случае, первый применил его.

Профессор одернул на себе телогрейку, засунул поглубже большие пальцы за солдатский ремень, откинул назад большую лысую голову, словно хотел рассмотреть меня получше, неопределенно хмыкнул.

— Что же, истории и такие случаи ведомы.

— А именно?

— Ну хотя бы изобретение ацетиленовой горелки. Когда Шарль Пикар опубликовал свою работу, коллеги подняли его на смех. А лондонские налетчики, не имевшие достаточной подготовки, чтобы усомниться в научной компетентности Пикара, заказали по его схеме автоген и через месяц разрезали бронированный сейф Коммерческого банка. — Благолепов медленно, осторожно нагнулся, поднял с земли лопату, грабли, аккуратно прислонил их к коричнево-серому стволу яблони, показал мне на скамейку: — Присаживайтесь, в ногах правды нет.

Скамейка была хороша. На двух гранитных валунах покоилось дубовое бревно, покойно и очень удобно углубленное в середине, сзади и сверху затеняли скамью ветки старого осокоря, а перед ней вкопали в землю стол — пень, любовно, умело вырубленный в нужную форму, огромный, в два обхвата. Вообще говоря, в этом саду было все необычно — я, собственно, таких садов и не видел никогда. По сложенному из крупных позеленелых булыжников альпинарию сочился прозрачно-льдыстый ручеек, вода натекала в округлую каменную чашу и переваливалась из нее стеклянным дождиком в маленькое озеро. От капель разбегались к берегам, заросшим папоротником, ровные плавные круги, ветерок шевелил на игрушечных волнах красно-желто-зеленые кораблики опавшей листвы. В саду засохшие деревья не спиливали, а снимали с них кору, подрезали ненужные ветки, шкурили луб до древесины и покрывали польским паркетным лаком, и от этого стояли в сумраке живых деревьев янтарные, густо-медового цвета лешаки и ведьмы, застывшие для прыжка олени, солнечно просвечивали диковинные птицы и удивительные неземные звери.

Дорожки, выложенные каменными узорами, цветники, причудливо подстриженные кусты, прямоугольный газон перед домом, зеленый и гладкий, как бильярд.

— Вы курите? — спросил Благолепов.

— Нет. Не научился.

— Похвально. А я вот стражду — последний окурочок погасил о носилки, на которых меня тащили с третьим инфарктом. Ну, во всяком случае, хорошо, что вы не курите — говорить будет легче, иначе мы бы мучили друг друга искушением и воздержанием. А кофе пьете?

— Охотно.

— Пойдем в дом или на воздухе?

— В саду было бы, конечно, приятнее, но это, наверное, сложно...

— Отчего же? Сейчас мы с вами здесь прекрасно расположимся. Посидите, подышите пока. — Благолепов пошел к даче. Он шел не спеша, глядя в землю, и все шаги у него были разной длины, будто он видел на дорожке одному ему заметные ямки и перед каждой ненадолго задумывался — перешагнуть, обойти или по причине мелкости ступить прямо в углубление? Держался он неестественно прямо, словно нес в груди своей пугливого зверька, которого ни в коем случае нельзя было беспокоить.

Позвонив на квартиру профессора и не застав его дома, я не поленился приехать сюда, в Опалиху, на дачу, потому что в придуманном мною принципе исследования деловой карьеры Па-

нафидина разговор с его научным руководителем должен был стать отправным моментом.

Когда я пришел, Благолепов окапывал яблони. Перепоясанный ремнем, за который он все время засовывал большие пальцы, в штанах, заправленных в белые шерстяные носки, с большущей лысой головой и длинными сивыми усами, он больше походил на чумака, чем на профессора биохимии. Да, вид у него был хоть куда, и лишь по тому, как он осторожно носил в себе свое усталое стеклянное сердце, чувствовалось, что он сильно болен.

Очень тихо было в саду. Отзванивали капли на озерце, да серая птичка с зеленым воротничком раскачивалась невдалеке от меня на ветке и выкрикивала тоненько «цви-цви-цуик», «цви-цви-цуик». Красноватое вечернее солнце повисло на рукастой сене, как детский шарик, лиловый туман слоился полосами у забора в конце сада.

Стукнула дверь в доме, на крыльце показался Благолепов с подносом в руках. И шел он с ним все так же прямо, как жрец великий, возносящий к алтарю священную жертву. Я взял у него поднос, поставил на стол. В середине пня был врезан керамический горшок-петух, над которым дымились желтые, красные, багровые, синие взрывы махровых астр. Остро пахло мокрой землей, яблоками и жжеными листьями.

На подносе уместились банка с кофейными зернами, спиртовка, мельница, похожая на зенитный снаряд с ручкой на хвосте, сахарница, две тонкие фарфоровые чашечки, серебряные с про чернью ложечки.

— Вы кофе любите? — спросил он.

— Как вам сказать — люблю, наверное...

Благолепов усмехнулся, подергал себя за ус:

— Значит, не любите. Кофе можно любить только страстно — как любовницу, дабы с соблазном соседствовал запрет, это придает ему особую терпкость и неповторимый вкус. Чтобы ощутить его прелесть полностью, необходим категорический врачебный запрет.

— Вам ведь, наверное, врачи не рекомендуют кофе? — заметил я осторожно.

— Мне врачи не рекомендуют все, — засмеялся старик. — Но в моем возрасте человек уже должен научиться решать сам. Мне этого, кстати, всю жизнь не хватало...

— Глядя на вас, этого не скажешь.

— «Глядя» ни про кого ничего не скажешь. Глаза — обманщики, лжесвидетели, предатели. Глазам не стоит верить. О-хо-хо. — Он грузно сел на скамью, положил в спиртовку несколько круглых рафинадно-белых кусочков сухого спирта, насыпал в мельницу зерен и протянул ее мне: — Работайте.

Я крутил за хвост зенитный снаряд, а Благолепов положил в турку сахар, подошел к водопадику и набрал в нее прозрачной, пахнущей слегка травой воды. От бешеного кручения маленьких жерновов мой снаряд разогрелся, и вокруг пополз горьковатый тонкий запах теплого свежемолотого кофе.

— Хватит, — сказал Благолепов.

Я передал ему мельницу, и он высыпал в турку коричневый благоухающий порошок. Кофе застыл на воде горкой, он очень медленно набирал влагу. Потом профессор бросил туда же кро-





щечную щепотку соли, поставил турку на спиртовку и чиркнул спичкой. Бегущее пламя лизнуло доньшко турки и еле слышно загудело.

— Итак, если мне принять ваш совет не доверяться глазам

своим, то, не будучи специалистом в таком тонком вопросе, я должен сразу же сдать, а расследование прекратить, — сказал я.

— А мне как раз сдается, что ваша некомпетентность в специальной стороне вопроса является преимуществом: вы будете свободны от бремени авторитетных мнений.

— Как лондонские налетчики?

Старик засмеялся:

— Ну что-то вроде. Позвольте вас спросить: вы подозреваете в чем-то профессора Панафидина?

— Нет. Но он знает гораздо больше, чем говорит. Панафидин о чем-то умалчивает, и мне это не нравится.

— Зря вам это не нравится — все люди, во всяком случае, все разумные люди, знают гораздо больше, чем говорят. А Панафидин — образцовый ученый муж, я бы даже сказал, что он эталон современного понятия «хорошо сэйнтификус».

— А что именно характеризует Панафидина как образцового современного ученого?

— Он молод, а я глубоко уверен, что золотая пора ученого — это грань между молодостью и зрелостью. Именно в эту пору совершаются большие открытия. Он честолюбив, а честолюбие, эта злая птица, выносит немало исследователей к вершинам знаний и славы. Он умеет заставить работать своих сотрудников в нужном ему направлении — столько и так, чтобы получить от них максимальную отдачу. Он хорошо подготовлен теоретически, и ему идей не занимать. Наконец, он умеет толково тратить отпущенные ему деньги — столь же ценное, сколь и редкое умение для научных руководителей. — Все это Благолепов говорил как-то вяло, я не чувствовал в его словах внутренней уверенности. Потом он умолк, я подождал немного и спросил:

— Илья Петрович — и это все?

— Этого не так мало. Кроме того, он деловит и чужд всякой сентиментальности. У него работал очень способный и ершистый парень — Нил Петрович Горовой. Оперившись, он стал препираться с Панафидиным. Тот решил, что ему строптивные сотрудники не нужны и в два счета выпер его из лаборатории. А это было ошибкой — ведь Панафидин обычно четко знает, чего он хочет...

— А чего он хочет?

— Он хочет больших научных открытий.

Мне показалось, что в последних словах Благолепова промелькнула еле заметная усмешка. Я спросил:

— Профессор Панафидин хочет сделать какое-то конкретное, давно волнующее его как ученого открытие, или человек по фамилии Панафидин жаждет открытий, успеха и славы?

Благолепов засмеялся:

— Ваш вопрос наивен. Кроме того, молодой человек, я в разговоре чуть приоткрыл дверь, и вы сразу же засунули туда ногу. Теперь вы пропихиваете плечо.

— Я ведь не скрываю, что мне надо пролезть к вам в душу.

Пенка в кофейнике затвердела, почернела, вздыбилась. Благолепов снял турку с огня и разлил по чашкам кофе. Спирт в конфорке выгорел, и от него подымалась отвесная струйка молочно-

сизого дыма. Птичка на ветке подпрыгнула, крикнула «цви-цви-цви» и улетела. Сумерки сгустились.

Благолепов отхлебнул кофе, прикрыл глаза, покачал головой с боку на бок, причмокнул от удовольствия:

— Эх, хорошо, — потом повернулся ко мне и, пристально глядя на меня из-под вислых тяжелых век, сказал: — Я думаю, вы бы это скрывали, кабы знали, что Александр Панафидин — мой зять...

У меня было такое ощущение, будто Благолепов взял меня за шиворот и швырнул в свое прозрачное игрушечное озеро. Перед глазами стояла анкета Панафидина, заполненная его твердым, без наклона почерком — «Жена — Панафидина Ольга Ильинична, 1935 г. р.».

Благолепов как ни в чем не бывало продолжал:

— В то же время, поскольку вы заверили меня, что ни в чем не подозреваете Александра Николаевича, я могу продолжать разговор со всею искренностью и доступной мне объективностью.

— Ну что ж, ситуация действительно дает нам возможность поговорить начистоту, — заметил я. — Поэтому сразу же спрошу: мне показалось, что в вашей характеристике современного ученого мужа, как вы называете его — «хомо сайентификус» — гораздо больше модных расхожих представлений, чем ваших убеждений. Это так или я ошибся?

Благолепов грел в ладонях чашку, задумчиво смотрел на оранжевое зарево догорающего заката, потом очень грустно сказал:

— Произошла со мной нелепая история. Привезли меня сюда после больницы, обошел я сад, посидел на этой скамейке, посмотрел на воду, палую листву и вдруг понял, не умом, а сердцем, всем существом своим я это почувствовал — жизнь моя окончательно и безвозвратно прожита. Тут штука в чем — я ведь не смерти испугался — с тремя инфарктами привыкаешь, а в этом абсолютном новом для меня ощущении законченности моего существования. Бессмысленно беречь себя — для меня вопрос бытия в лучшем случае несколько месяцев. Бессмысленно начинать какое-то дело — все равно не успею закончить. Бессмысленно что-либо перерешать — сил не хватит доказать. Бессмысленно кому-то объяснять — ни у кого не хватит времени дослушать...

— А вы бы хотели что-то изменить? — спросил я напрямик, потому что возникло у меня ощущение, словно он заманивает меня своими разговорами. Внутрь не пускает, а только приоткрывает щелку, и сразу — хлоп дверью перед носом. И сейчас он ответил не сразу, а словно прикинул сначала — говорить об этом или не стоит?

— Я всегда завидовал людям, которые на пороге смерти отказываются от волшебного дара возвращения молодости, потому что якобы снова прожили бы ту же самую жизнь — с удовольствием и убежденностью. Явись ко мне сейчас Мефистофель, я бы прожил свою новую жизнь совсем по-другому...

— Вы поискали бы другое призвание? Или других людей?

— Нет, дело не в этом. Жизнь представляется мне длинной цепью причинно-связанных решений. Вот я бы и принял совершенно другие решения, и жизнь получилась бы совсем другая.

— Но для вас лично ведь ничего бы не изменилось, пробежали бы десятилетия, и мы бы с вами вновь, описав кольцо времени, сидели бы осенним вечером в саду на этой скамье и пили кофе?

— Возможно. Но многое бы изменилось для тех людей, с которыми были связаны мои решения. Изменилось так серьезно, что, может быть, мы и не сидели бы здесь с вами. Да и мое призвание, возможно, было бы другим...

— А вы разве не считаете науку своим истинным призванием?

— Как вам сказать? Наука — это совсем особая планета, и приживаются на ней в первую очередь люди, которых мы здесь в суете считаем странноватыми чудаками, заумными, а они просто очень погружены в свои размышления, и от сей задумчивости говорят и поступают невольно, отчего становятся застенчиво-робкими и еще больше углубляются в свои размышления, которые постепенно становятся одержимостью. И мысль такого человека бьется с мглой незнания, путами традиционности, вязкой пустотой отвлеченности, всегда — во сне, на работе, за чаем, в кино, ибо одержимость стала формой и способом его существования. Вот тогда Ломоносов и заявляет, что никакого теплорода не существует, а энергия не исчезает. И маленький патентный чиновничек вдруг осознает новый смысл эксперимента Майкельсона — Морли и открывает эквивалентность массы и энергии, и мир, не способный еще понять смысл этих громадных безмерных размышлений, только годы спустя с удивлением узнает, что чиновник Эйнштейн — гений.

— Скажите, Илья Петрович, а Панафидин одержимый ученый?

Благолепов долил мне в чашку кофе, покрутил в руках пустую турку, решительно поставил ее на стол. Сказал с досадой:

— Меня удручает ваш практицизм, — и вдруг, улыбнувшись каким-то своим мыслям, ответил на мой вопрос: — Нет, Александр не робкий, задумчивый чудака. Он очень жить любит. Если он идет в кино, то за свой полтинник он внимательно смотрит до конца самую скучную ленту. Обедает он всегда с аппетитом. И спит крепко и спокойно ровно восемь часов. О науке он думает на работе.

— Вы думаете, что большого — самого главного для себя — открытия ему не сделать?

— Боюсь, что нет. Существует категория мужчин, которая пользуется большим успехом у неумных женщин. Это создает таким мужчинам репутацию неотразимых. В науке тоже живет клан людей, которые с первого шага совершают массу маленьких толковых успешных дел. И полезных при этом. Вот таких способных ребят мы щедро наделяем погонями «таланта». А в науке жизнь у большого ученого должна начинаться с неудач, как обычно бывают несчастливы в первой любви настоящие мужчины...

Старик замолчал, заря догорела совсем, и там, где светлела еще недавно яркая закатная полоса, вдруг вспыхнула мерцающая желтая звезда, тревожная и злая. В саду стало темно. Подул прохладный резкий ветерок, Благолепов поежился и спрятал забнувшие кисти рук под мышками. И тогда я решил:

— Илья Петрович, а Лыжин мог сам синтезировать метапропитизол?

Совершенно автоматически он ответил:

— Это невероятно трудно, но Володя...

Тут он остановился, поднял на меня глаза, покачал головой:

— Вот вы и вошли в дверь. Но ответить на ваш вопрос я затрудняюсь. Я вам раньше говорил — у меня уже не осталось времени во что-то вмешиваться. Я не знаю. Очень много я совершил в жизни ошибок и не хотел бы совершить еще одну. Вы наверняка и без меня разберетесь.

Я помолчал, потом сказал:

— Вы тоже говорите гораздо меньше, чем знаете.

— Вам только кажется, будто я что-то знаю. Я могу только догадываться. Но вмешиваться я не хочу — у меня нет сил волноваться, у меня остался только этот островок покоя.

Вопреки широко распространенному мнению о том, что самые сложные, запутанные и непонятные дела в МУРе нарасхват, старые опытные инспектора любой ценой стараются от них открутиться. Только им в полной мере известно, какими изнурительно скучными буднями, невероятно кропотливым, мелочным, утомительным трудом, неприятностями от начальства, жалобами потерпевших и представлениями прокуратуры оборачивается для расследователя интересность этих дел.

Но все «зубры» криминального сыска, сколь бы ни были они разными по психологическому строю и эмоциональному складу, обладают чертой, выдвинувшей их в конце концов в число лучших и опытнейших: вступив однажды в дело, каждый из них раз и навсегда проникается ощущением, что преступник воюет против него лично. Самый распрекрасный тренер не может во время боя подсказать нужные движения и поступки секундируемому боксеру, не может передать ему свою реакцию, не может ощутить боль пропущенных ударов. Настоящий сыщик, приняв дело к расследованию, не может следить за ним из угла за канатами. Он должен выйти на ринг сам, и с этого момента он забывает о гудящем вокруг зале, о том, что дерется за кого-то, и в этом нелепом фантастическом соревновании ему часто приходится проводить первые два раунда вообще с невидимым партнером, который где-то здесь, рядом, на залитом светом квадрате — слышно его глухое дыхание, вот он нанес тяжелый удар в голову, в корпус, дух захватило, надо отбиваться прямыми встречными, чтобы отогнать его подальше, прижать к канатам, в угол, он должен быть где-то совсем рядом — удар вот сюда, еще удар — попал!

И происходит непостижимое чудо: чем больше пропускает преступник ударов, тем заметнее он становится сыщику, испаряется его оболочка невидимки, исчезает навязчивый кошмар боя с тенью, враг становится осязаемым, реальным, достижимым...

Я раздумывал об этом, стоя в тамбуре электрички. Мысли были обрывочными, скачущими, как дыхание у боксера, сидящего на табуреточке в углу, в перерыве между раундами... Кто такой и чем занимается Горовой?.. Надо снова допросить жену Позднякова, разобраться глубже в ее взаимоотношениях с Па-

нафидиным... Надо выяснить, знает ли Панафидин Позднякова... Узнать, почему разошлись Панафидин с Лыжиным... Есть ли связь между Лыжиным и Желонкиной... Чем занимается Лыжин в 12-й неврологической больнице, где он сейчас служит... Надо глубже подработать вопрос о непосредственном окружении потерпевшей Пачкалиной — именно оттуда должны были сделать на нее навод «самочинщикам» с удостоверением Позднякова... Но в первую очередь необходимо поговорить с Лыжиным...

На вокзале я взглянул на часы — было двадцать минут девятого. «Вечер уже все равно пропал», — подумал я. Если отложить на завтра встречу с Лыжиным, то пропадет и половина завтрашнего дня, а так нужно побывать дома у Пачкалиной! Может быть, попробовать заехать на квартиру к Лыжину? Коли я застаю его дома, это высвободит завтра массу времени. Домашний адрес Лыжина у меня был. Я еще минуту колебался, потом сел в такси и сказал шоферу:

— В Трехпрудный переулок...

Это был дореволюционный постройки шестизэтажный дом с флигелями, боковыми пристройками, дворами-колодцами. На скамейке под фонарем сидела компания молодых ребят, один из них играл на гитаре и пел нарочито хриплым голосом. Он очень старался хрипеть, чтобы выходило похоже на «роллинг стоунов», но голос, молодой, чистый, его не слушался — выходило все равно хорошо. Один из ребят подбежал ко мне, скороговоркой бормотнул:

— Дя-енька, дай закурить!

Я остановился, посмотрел на парня — белобрысого, веснушчатого. От того, что он быстро шевелил верхней губой и подергивал коротким вздернутым носом, казался парень сопливым и нахальным. Мне хотелось сказать ему, что мальчишкам курить нельзя, что глупо сидеть здесь на лавке, что ужасно жаль, если из них выйдут Борисы Чебаковы и какому-то неизвестному Позднякову придется держать их на учете... Но ничего не сказал — нельзя воспитывать людей в подворотне, походя, для этого нужно прожить неблагоприятную, трудную жизнь Позднякова. Повернулся и пошел в подъезд. Парень крикнул вслед:

— Жадюга!

Лифта не было. Я медленно шел по лестнице на четвертый этаж, марши были огромные, на некоторых площадках свет не горел, пахло кошками. И я почему-то подумал, что Лыжин должен побаиваться ходить в свой полутемный подъезд мимо компании хулиганистых ребят, которые кричат: «Дя-енька, дай закурить!»

Под звонком было несколько табличек с фамилиями жильцов, но рассмотреть их было невозможно, и я позвонил один раз. За дверью долго было тихо, потом раздалась негромкие шаркающие шаги, стукнула цепочка, щелкнул замок, в узкую щель глянуло плоское старушечье лицо:

— Вам кого надо?

— Мне нужен Владимир Константиныч.

— Три звонка ему звонить. А вы кто ему будете?

Я усмехнулся:

— А вы?

— Я? Как кто? Соседка я ему!

— А я знакомый. Так он дома?

— Нету его, — и захлопнула дверь.

Я чертыхнулся и пошел вниз. Было обидно за глупо потерянный вечер, и я решил, коль скоро вечер все равно потерян, попробовать заехать к Горовому. Позвонил из автомата, на Петровку, и мне довольно быстро разыскали его адрес.

— Не знаю я, кто это сказал — не то Лассаль, не то Пастер, а может быть, Паскаль или вовсе Лассар, — засмеялся Горовой. — Но сказал, к сожалению, верно...

— Вы не похожи на пессимиста, Нил Петрович, — заметил я.

— Так дело не в пессимизме. Вы же сами на своей работе часто встречаетесь с этим: справедливость извечно была предметом споров, а сила всегда очевидна. И поэтому гораздо легче сделать, увидеть или назвать Сильное — справедливым, чем Справедливое — сильным.

— Ну коль скоро зашла речь о моей работе, то ее задачей и является наделение справедливости необходимой силой.

— Да, я и не спорю, но ведь большинство человеческих конфликтов, нуждающихся в сильной справедливости, не опускаются, к счастью, до норм уголовного права. — Горовой хитро смотрел на меня, чуть откинув назад крупную, уже начавшую лысеть голову. Для его среднего роста и худощавой комплекции голова была, пожалуй, крупновата, но доведись кому-либо, даже Пачкалиной, опознавать Горового, то ни на одной, пускай самой плохой фотографии, это не вызвало бы затруднений.

Я смотрел на него, и меня не покидало ощущение, что все свое внимание, всю фантазию, все силы отдал творец этой головы верхней ее части — мощный лоб куполом, подвижные брови вразлет, сильное переносие треугольником и чуть прищуренные глаза насмешника, шкодника и забияки. Кончик носа с глубоко прорезанными чувственными ноздрями еще нес след вдумчивой работы, хотя он уже короче и вздернутей, чем это необходимо по жестким требованиям пропорции и гармонии. А рот и тем более подбородок создавались наверняка з пятницу вечером, к концу рабочего дня — это была уже откровенная халтура: прилепили случайно оказавшиеся под рукой пухлые губки бантиком и маленький, словно стертый, подбородок, — и вышел в свет со своим негармоничным, обаятельным и веселым лицом Нил Петрович Горовой, к которому я приехал около десяти часов вечера и застал его семью в сборах для переезда на новую квартиру.

Мебель была отодвинута от стен, из серванта вынуты стекла, телевизор, перевязанный веревкой, стоял на полу, запакованные чемоданы, узлы, свертки, одинокая лампочка вместо отсоединенной и обвернутой тканью люстрочки, сложенные в углу штабелем бакалейные картонные ящики, на которых было написано красным фламастером: «Химия — математика», «Педагогика», «Поэзия», «Проза», «Фантастика», «Смесь»...

И стулья тоже были связаны в многоногий квадратный стог. Жена Горового растерянно разводила руками:

— Господи, посадить человека некуда, чаем напоить не из чего...

Все-таки местечко мы отыскивали: меня Горовой усадил на чемодан, скрученный белой толстой веревкой, а сам пристроился на подоконнике. Несмотря на мои возражения, его жена убеждала к соседям доставать чайник и несколько стаканов.

А Горовой с детской гордостью демонстрировал мне лист зеленой водной бумаги, поперек которой было написано красными печатными буквами «ОРДЕР», и объяснял, что Теплый Стан, несомненно, самый красивый и здоровый район массовой застройки.

— Мы с соседями прекрасно жили всегда, но отдельная квартира — это все-таки здорово! Как ни говорите, а здорово! — повторял он, словно я убеждал его отказаться от ордера. — Вот только в школу мне будет ездить далеко. Да, впрочем, и это не страшно — там же скоро пустят метро...

— Там ведь и школы новые строят, а у вас специальность дефицитная — преподаватель химии. Может быть, туда перевестись? Чтобы ближе к дому?..

— Ну, это не по мне! — отрезал Горовой, и веселый блеск в его глазах на миг пригас. — Принимая седьмой класс, я веду его до окончания школы.

— Но там, наверное, такие же точно ребята? — спросил я.

— Да, конечно. Но по моему убеждению ничто так не убивает интерес ребят к предмету, как смена педагога, — он развел руками, словно извиняясь передо мной за мою непонятливость. — Я хочу сказать, что учитель обязательно должен быть для детей воспитателем чувств. И нужен немалый срок для того, чтобы ребенок принял учителя на эту должность — воспитателя, потому что руководствуется он другими критериями, чем отдел кадров горно. И разрушать веру ребенка в чудо узнавания, которое ему может принести только его воспитатель, нельзя.

— Но ведь приходится считаться с реальными обстоятельствами — учителя в силу самых разных причин меняются, и тут ничего не сделаешь.

— Не сделаешь, — согласился он. — А я все-таки верю, что когда наше общество достигнет необходимого духовного и материального расцвета, то станут проводить не конкурсы на замещение должности научных сотрудников, солистов оперы, главных конструкторов и балетных прим, а учредят конкурс-испытание для занятия места школьного учителя...

Наверное, на моем лице не было достаточного понимания значительности этой перспективы в эпоху материального и духовного расцвета моих будущих внуков, потому что Горовой, бросив на меня косой взгляд, нахмурился, а потом, не выдержав, засмеялся:

— Ну ладно — не волнует это вас совсем, я вижу! Мой энтузиазм понять можно: толкового химика из меня не вышло, вот я и мечтаю, чтобы из ста моих школьных выпускников нашелся один, который сделает и за себя и за меня...

— Охотно присоединяюсь к вашей надежде. И хочу спросить, кстати, а при каких обстоятельствах из вас не вышло, как вы говорите, «толкового» химика?

— При обстоятельствах житейских, — засмеялся Горовой. —



В одном мешке оказалось не два кота, а целая компания, и, наверное, с очень уж разными характерами...

— Наверное, такая ситуация может помешать служебному продвижению? — заметил я. — А стать толковым специалистом...

— Нет, нет, нет! — замахал руками Горовой. — Вы не поняли — я не ссылаюсь на обстановку. Просто из-за сложившихся отношений с руководителем лаборатории я вылетел раньше, чем стал хорошим специалистом.

— А кто был вашим руководителем?

— Есть такой деятель науки и техники — Александр Николаевич Панафидин. Сейчас он уже в корифеях ходит.

— У вас возник с ним конфликт?

— Ну как вам сказать; все это протекало очень протокольно, достойно и вежливо — просто я не уложился в аспирантский срок, и он меня мгновенно вышиб из лаборатории. Так что для бурных сцен ни времени, ни условий не оказалось.

— А как он объяснил свою непримиримость?

— Чего же там объяснять? Формально у него были для этого основания, а всем ходатаям за меня он сообщал доходчиво и категорично: «Горовой химию не любит». Самое смешное, что, по-моему, он оказался прав...

— То есть?

— Тогда я прямо задышался от обиды, ярости и горя и пошел в учителя на год, потому что место, обещанное мне в одной проблемной лаборатории, еще должно было только освободиться. А пробежало с тех пор почти пять лет, и уходить из школы я не думаю.

— Интересно?

— Это, наверное, не то определение — я просто случайно открыл для себя свое настоящее призвание, я ведь никогда раньше и не думал заниматься преподаванием. А это, оказывается, такой прекрасный, удивительный мир! Очень хотелось бы, коли найдутся время и силы, написать о школе книжку...

— Художественную? — полюбопытствовал я.

— Да что вы! Это не по моей части. Так — размышления кое-какие о педагогике, о преподавании скучных предметов, о поведении учителя...

— А почему же вы поссорились с Панафидиным? — вернулся я к интересующим меня проблемам.

— От глупости, — блеснул своими хитрыми, быстрыми глазами Горовой. — Тогда я еще не знал, что лучшие специалисты частенько возражают против принципиальной реформации их идей, поскольку эта содержит в себе покушение на их титул «лучшего»...

— А вы покушались на идеи Панафидина? Или на его титул?

— Ну по тем временам я еще был слаб в коленках — соперничать с Панафидиным. Забавно, кстати, что он всего на несколько лет старше меня. Но он относится к тому редкостному племени человеческого, которое чуть ли не с пеленок предназначается для руководства остальными людьми, не сменяемыми невыносимым зудом бежать впереди всех...

— Так почему же он был недоволен вами, Нил Петрович?

— Потому что есть в нем опасное свойство — неконтролируе-

мая увлеченность собственными идеями. А я позволил себе роскошь вслух над ними хихикать. Собственно, это даже не его была идея, а придумали они ее вместе с Володей Лыжиным — был у нас в лаборатории такой парень.

— Выходит, что вы хихикали и над идеей Лыжина?

— Это выходит, если закапываться совсем глубоко, потому что, во-первых, идей у Лыжина каждый день была дюжина, во-вторых, когда его идеи громили, он только улыбался и придумывал на другой день что-нибудь новое. А Панафидин никогда в жизни не признал бы, что в основе его системы лежит лыжинская мысль.

— Эта мысль Лыжина касалась метапропизола?

Горовой кивнул:

— Да. У Лыжина, с моей точки зрения, блистательное теоретическое мышление, которого здорово не хватает Панафидину. Будучи отличным экспериментатором, Панафидин пытался реализовать концепцию Лыжина о дифференцированном по отдельным радикальным группам синтезе, гигантской тиазиновой молекулы метапропизола. Я выполнял часть этой работы.

— И не верили в успех?

— Сначала верил. Отдельные фракции мы обрабатывали очень лихо. Ну, и чего греха таить, тогда сильно грело сознание неумолимо приближающейся кандидатской защиты — это было беспроектное дело, ведь мы синтезировали целое семейство новых веществ. А потом...

Горовой замолчал, удобнее устроившись на своем подоконнике. Он сидел, прислонившись головой к стене, и взгляд его летел поверх моей головы — туда, в те уже невозвратно промчавшиеся годы, когда еще не было найдено призвание и не жило в сердце ощущение обязанности выпустить из своих классов много толковых, хороших людей, один из которых сделает за себя и за него то, что больше радости от защиты диссертации, а принесет великое знание всем.

— А потом я понял, что мы в тупике. Случайно я услышал разговор: Лыжин предлагал новые пути, а Панафидин бился с ним, как лев, и, вслушиваясь в аргументы Панафидина, я понял, что он сознательно пытается срастить идею Лыжина с результатами наших экспериментов, которые он как хитрый ученик подгонял под готовый ответ в конце задачника...

— Вы считаете Панафидина недобросовестным ученым?

— Ну, это уж крайность! Я думаю, что, не будучи слишком щепетильным человеком, Панафидин-ученый просто создавал себе некоторые поблажки, искренне выдавая желаемое за действительное. Я, может быть, этого и не сообразил бы тогда, кабы не услышал сомнений Лыжина, но это был толчок для моих размышлений. В конце концов я сообразил, что мы на неправильном пути...

— Нил Петрович, а вы сказали об этом Панафидину?

— Конечно. Он выслушал меня и предложил поставить опыты, которые бы опровергли его представления. Это была довольно долгая и не очень результативная работа — я не окончил старого и не успел сделать что-либо новое. А три года пробегают очень быстро, и в один не больно-то прекрасный день Панафидин

объявил мне, что он благодарит меня за сотрудничество — ска-тертью, мол, дорожка...

— Скажите, Нил Петрович, Панафидин — с вашей точки зрения — талантливый ученый?

— Несомненно, — уверенно кивнул Горовой. — Он человек талантливый. Но лучше бы ему было заниматься какой-то деятельностью, где нужно поменьше уверенности в себе...

— Почему?

— Как вам сказать? Научная работа требует от человека постоянных сомнений, вечной потребности еще раз подумать, снова проверить, взглянуть по-новому, способности поднять поиски истины выше всех наших маленьких людских страстей...

— А Панафидин не может?

Горовой пожал плечами:

— Талантливый человек, Панафидин в любом споре добивается не истины, а победы. Талантливого ученого Панафидина это может далеко увести...

— Далеко или высоко? — спросил я с нажимом.

— В науке эти векторы иногда совпадают. Спор о разнице между людьми, любящими себя в науке, и теми, кто любит науку в себе, еще не окончен...

— Лыжина вы больше не встречали?

— Нет, но я слышал, что у них вышла крупная ссора с Панафидиным и Лыжин ушел из лаборатории — подробностей я не знаю.

— Как вы думаете, Нил Петрович, могли Панафидин или Лыжин самостоятельно получить метапроптитозл?

Горовой пожал плечами:

— Это очень сложный вопрос. У Панафидина гораздо больше шансов за счет прекрасной научной базы и экспериментаторского дарования. А Лыжин — ученый с великолепной фантазией, воображением художника, громадной памятью и способностью мыслить очень широкими категориями...

— А как же могло получиться, что ученый с такими задатками может кануть в безвестность?

— Ученые не кинозвезды, их портреты не вывешивают на уличных стендах. А в научном мире его здорово давит Панафидин. Он ведь член всех редколлегий и ученых советов, через которые может пробиваться со своими публикациями Лыжин.

Я недовольно покачал головой:

— Мне как-то не верится, чтобы весь научный мир так уж безоговорочно поддержал Панафидина, если бы он отстаивал неправильную идею.

Горовой сердито покосился на меня:

— А зачем эти обобщения — «весь научный мир», «безоговорочно», «неправильная идея»? Научный прогресс — это торжество новых идей, и успех их часто связан с авторитетом носителя их. Кабы прославленный петербургский физиолог Пашутин не объявил исследования Льва Соболева на поджелудочной железе бесперспективными заблуждениями, то скорее всего Соболев, а не Фредерик Бантинг, получил бы Нобелевскую премию за открытие инсулина. Но, как вы говорите, «весь научный мир» гораздо охотнее прислушивался к мнению крупнейшего авторитета в этой области, чем к голосу безвестного новичка. Неудивитель-

но, что мнение Панафидина для любого человека много весомее, чем неосуществимые фантазии какого-то неведомого Лыжина...

Долго еще мы говорили в этот вечер с Горовым, но так я и не приблизился ни на шаг к решению этого запутанного, совсем непонятного дела. И все больше меня начинал интересовать Лыжин — фигура мрачноватая, загадочная, но пока безликая.

## ГЛАВА 7

Зазвонил телефон, и, еще не поднеся трубку к уху, я услышал густой мазутный голос:

— Тихонов? Дежурный по управлению Суханов. Вчера около двадцати часов два афериста залепили самочинку, — гудел в трубке Суханов. Я подумал, что голоса человеческие имеют цвет. У дежурного голос был темно-коричневый. — ...Генерал почему-то приказал сообщить тебе об этих аферистах. Мол, ты сам знаешь почему, — говорил Суханов. — Вообще-то я даже удивился — ты же мошенниками не занимаешься?

— Да, не занимаюсь, — сказал я. — Вообще-то не занимаюсь...

— Ну, тогда не знаю, — ответил Суханов. — Вам, в общем-то виднее.

— Ага. Ты мне адрес продикуй.

— Чей? Потерпевшей?

— Ну, зачем же... Твой, домашний, — мирно сказал я и подумал, что здесь тоже потерпевшая; не потерпевший, а потерпевшая. Потерпевшая Пачкалина и потерпевшая... — Как ее фамилия?

— Шутить все, — осудил меня Суханов. — Записывай: Рамазанова Рашида Аббасовна, Щипков переулок, дом 12, квартира 46. Туда опергруппа уже выехала. Генерал велел послать за тобой машину.

— Очень трогательно. Как принято сейчас говорить — спасибо за внимание.

— Да мне-то что! Ты в Управление потом приедешь?

— Не знаю пока...

— Будь здоров. Машину только там долго не держи.

Потерпевшую допрашивал инспектор из 4-го отдела МУРа Гнездилов, допрашивал толково и быстро. Я сидел в углу на стуле, развернутом задом наперед, облокотившись на спинку, уперев подбородок в ладони, внимательно слушал, разглядывал комнату, потерпевшую, двух детей на диване и думал о том, как беда, войдя в человеческий дом, делает сразу похожими самые разные человеческие жилища — богатые и бедные, красивые и безвкусные. Прекрасные, любовно украшенные квартиры и запущенные воровские хазы после обыска имеют так много общего! Распахнулись пухлые животы шкафов, вывалив свои внутренности на пол, на кровати и стулья, везде валяются какие-то бумажки, выдвинутые ящики, развороченное белье, раскиданные с полок книги, приподнятые половицы и надрезанные обои. Но самое главное, видимо, в той едкой атмосфере испуга, слезливой воз-

бужденности, стыда, боли, умирающей надежды, беспощадной оголенности под взглядами чужих людей.

Квартира Рамазановой была хорошо обставлена, со вкусом украшена, и все это было разбросано, перемешано, разор и хаос царили здесь сейчас. Около трельяжа на низеньком пуфе лежал расчесанный и завитой шиньон, и этот треклятый шиньон все время отвлекал меня, расслаблял внимание, потому что с того места, где я сидел, был он сильно похож на отрубленную голову, и эта аккуратная прическа отрубленной головы не давала мне покоя. И два мальчика — десяти и пяти лет — испуганно посверкивали зрачками. А сама Рамазанова держалась хорошо. Молодая, стройная женщина с быстрыми синими глазами. Только золотых зубов у нее было многовато — казалось, что она вырвала здоровые зубы и вставила себе два полных золотых протеза.

— Нет, кроме этих ста двадцати рублей и моего кольца, они ничего не забрали, — быстро повторяла она, и так она все время напирала на то, что больше все равно им здесь нечего было взять, будто боялась: не поймут все присутствующие здесь безысходной бедности и сирости ее. А так-то держалась она спокойно, уверенно, вот только о пальцах своих она совсем забыла, и я все время внимательно наблюдал за ними. Руки у нее были красивые, ухоженные, нежные, и так неожиданно и неприятно было видеть эти руки, сведенные острой судорогой страха и непереносимого душевного волнения. Пальцы крючились, шевелились, сжимались, снова быстро распрямлялись, тряслись истерической тонкой дрожью, и, чтобы как-то унять эту дрожь, совершенно подсознательно Рамазанова переплетала их, сцепляла в замок, быстро терла ладонь о ладонь. И вот эта, отдельная от нее, суетливая жизнь насмерть испуганных рук заставляла меня думать о том, что Рамазанова говорит далеко не все.

Я подошел к столу, заглянул через плечо Гнездилова в протокол, похмыкал, вырвал из блокнота лист бумаги и написал на нем: «Умар Рамазанов, коммерческий дир-р промкомбината общ-ва «Рыболов-спортсмен». Потом отозвал к двери молоденького участкового, протянул ему листок и шепнул:

— Позвони в УБХСС, капитану Савостьянову. Спроси, так ли зовут его клиента, который подался в бега?

— Слушаюсь.

Участковый вышел, а я вернулся на свой стул, в угол комнаты.

— А как они объяснили вам причину обыска? — спрашивал Гнездилов. — Ну почему, мол, обыск у вас надо сделать?

Рванулись, замерли, прыгнули и снова сжали друг друга пальцы.

— Ничего они не объяснили, — сказала медленно Рамазанова. — Просто объявили, что есть санкция прокурора на обыск и показали бумагу с печатью.

— Но ведь в бумаге должно быть написано, зачем и на каком основании производится обыск?

Рамазанова пожала плечами:

— Я очень испугалась. У меня все перед глазами прыгало — я ничего не понимала.

— Рашида Аббасовна, сядьте, пожалуйста, вот сюда, побли-

же, — сказал я. — Мне надо задать вам несколько вопросов. Рамазанова горячо, толчком мазнула меня по лицу взглядом быстрых синих глаз, подошла ближе, оперлась коленом о стул, не села.

— Из ответов, которые вы дали инспектору Гнездилову, я понял, что ваш супруг Умар Рамазанов здесь не проживает, а детей вы воспитываете и содержите сами.

— Да, правильно.

— Когда вы расстались с мужем?

— Года полтора назад.

— Извините за любопытство, почему?

Рамазанова дернула плечом, сверкнула золотыми зубами:

— Пожалуйста, я вас извиняю, но это к делу не имеет никакого отношения.

— Может быть. А может быть, имеет. И уж поверьте, я вам эти вопросы задаю не для того, чтобы вечером с соседями обсудить подробности вашей личной жизни. Итак, почему вы расстались с вашим мужем? Когда? При каких обстоятельствах? Кто был инициатором разрыва?

Если бы не пальцы — затравленные, трясущиеся, неловкие, то по лицу Рамазановой можно было бы легко прочитать: какими же глупостями вам угодно заниматься во время серьезного дела!

— Года полтора назад, точнее даты я не помню, мой муж, видимо, нашел себе другую женщину — поздно приходил, иногда не ночевал, пьянствовал. Начались скандалы, и однажды он совсем ушел. Где он сейчас живет, я не знаю.

— Ага, значит, не знаете. Так и запиши, Гнездилов — не знает. И в последние полтора года вы с ним не виделись?

— Нет, не виделись, и где он сейчас, не знаю.

— Хорошо. А в этой квартире давно живете?

— Около года.

— Очень хорошо, — бормотнул я. — И уж снова простите меня, но мне это надо знать: к вам сюда какие-либо мужчины ходят? Ваши приятели, знакомые или, может быть, бывшие друзья мужа?

— Нет, не ходят. Ни-ка-ки-е мужчины — ни приятели, ни знакомые, ни друзья.

Я поднялся со стула, прошел по комнате, будто раздумывая над чем-то, остановился около пуфа и дотронулся до шиньона и вдруг, встав на колени, выкатил из-под дивана два совершенно новых игрушечных автомобиля. Красиво раскрашенные немецкие пожарные машины — с лестницей, шлангами, брандмайором в каске.

— Чьи же это такие шикарные машины? — спросил я у ребят.

— Мои, — сказал басом младший, а старший ничего не сказал, только исподлобья смотрел на меня быстрыми своими материнскими глазами.

— А кто же тебе подарил эту машину? — спросил я.

И снова старший ничего не сказал, а только толкнул младшего, но тот еще не понимал таких вещей, он подбежал ко мне, схватил свою машину и сказал готовно, с гордостью:

— Папа подарил!



Я повернулся к Рамазановой и увидел, что пальцы у нее больше не дрожат. Обои кулаками она ударила в столешницу и закричала пронзительно-высоко, захлебываясь собственным криком, клетотом, замиравшим у нее в горле:

— Как вы!.. Как вы смее!.. Как вы смее допрашивать детей!.. Кто вам незаконничать разрешил?..

В это время хлопнула дверь и вошел участковый, Рамазанова замолчала на мгновенье, и в возникшей театральной паузе лейтенант сказал:

— Все точно так. Это он, товарищ старший инспектор...

И Рамазанова сникла, увяла, она как-то в цвете даже поблекла, и в одно мгновенье на ее лице проступило огромное утомление, будто нервное напряжение держало ее все это время, как каркас, и теперь, когда оно растаяло, рухнуло несильное — без веры, без правды, без убеждения — все некрепкое сооружение ее личности.

Я сел на свой стул в углу и негромко сказал:

— Рашида Аббасовна, вы возвели напраслину на своего супруга. Никаких женщин он себе не заводил, а был и остается любящим мужем и отцом. К сожалению, эта высокая добродетель не может оправдать его главного порока — любви к государственным и общественным средствам, которые он расхитил в особо крупных размерах. В связи с чем до сих пор скрывается от суда и следствия. Значит, вы его видите время от времени?

— Не вижу, не знаю и ничего вам не скажу. А допрашивать ребенка — гадко! Подло! Низко! Порядочный человек не может воспользоваться наивностью ребенка!

— Не распаяйте себя, Рашида Аббасовна. Вы это делаете сейчас, чтобы сгладить неловкость после того, как я вас уличил во лжи. Что касается детей — закон позволяет их допрашивать. Правда, вашего ребенка я и не допрашивал — спросил только, чтобы убедиться в правильности своей догадки. И подумайте о той ответственности, которую вы берете на себя, приучая детей с малолетства ко лжи, двойной жизни, постоянному стыду и страху перед милицией...

Рамазанова ответила первое пришедшее ей в голову:

— Дети за родителей не отвечают...

— Тьфу, — я разозлился. — Ну, послушайте, что вы несете! Кто здесь вообще говорит об ответственности детей! Сейчас мы даже об ответственности вашего мужа не говорим!

— А о чем же тогда говорим? — зло подбоченилась Рамазанова.

— Мы говорим о людях, совершивших аферу у вас в доме. Как их найти — вот что нам важно.

— Ну, конечно, конечно, — усмехнулась Рамазанова, — только это сейчас и волнует вас больше всего.

— При таком поведении вообще неясно, зачем вы милицию вызывали, — пожал я плечами.

— А она и не вызывала милицию, — сказал внимательно прислушивавшийся к разговору участковый. — Это дворничиха вызвала.

Я при начале допроса не присутствовал и поэтому очень удивился.

— То есть, как? — спросил я.

— Мошенники уже заканчивали обыск, и тут в квартиру позвонила дворничиха — она принесла из ЖЭКа расчетные книжки. Мошенники впустили ее: спросили, кто она такая, объяснили, что, мол, идет обыск и за ней все равно собирались идти, как



за понятой. А закончив, сказали дворничихе, что сюда приедут из отделения милиции, пусть, мол, она посидит и последит, чтобы Рамазанова ни с кем по телефону не связывалась и не успела предупредить сообщников. Дворничиха отсидела четыре часа, а потом стала звонить в отделение — когда, мол, приедут? Ну, тут все и вскрылось...

— Вот оно что, — уразумел я. Походил по комнате, сел к столу, напротив Рамазановой, сказал ей спокойно, почти мягко: — Выслушайте меня, Рашида Аббасовна, очень внимательно. Я отчетливо представляю, что сейчас на вашу помощь мне рассчитывать не приходится, но, когда мы уйдем, вы всерьез подумайте над тем, что я скажу. Сообщники вашего мужа по хищениям в промкомбинате общества «Рыболов-спортсмен» осуждены, дело вашего мужа в связи с тем, что он скрылся, выделено в особое производство. Дело это нашумевшее, и я о нем наслышан. Но история, которая произошла здесь, никакого отношения к прошлым делам вашего мужа не имеет. Вы стали жертвой мошенничества, которое называется «разгон». Так вот, Умара Рамазанова ищут, вы это прекрасно знаете. И, как любой работник МУРа, я заинтересован в том, чтобы его нашли. Но — поймите меня правильно — сейчас это не мое дело. Меня сейчас даже не интересует происхождение ценностей, которые у вас забрали «разгонщики». Меня сами мошенники интересуют, потому что ваш случай не первый и они опасные преступники. Вы-то мне не рассказываете об обстоятельствах дела, но если хотите, я могу довольно достоверно предположить, как и что здесь происходило. Хотите?

Рамазанова сделала легкую гримасу, давая понять — говорите, что хотите, мне-то все равно.

— Вам позвонили вчера вечером, скорее всего сославшись на каких-то общих знакомых, и очень возможно, что это была женщина, и сказали вам, что муж — Умар Рамазанов только что арестован. Вам надлежит незамедлительно собрать и вынести из дома самые ценные вещи, потому что максимум через полчаса к вам придут с обыском и опишут все ценности. Вы заметались по дому, но через двадцать минут аферисты уже звонили в вашу дверь. А все ценное к их приходу вы уже собрали... Вот приблизительно так это и происходило.

— Ну, и что вы от меня хотите? — спросила Рамазанова.

— Чтобы вы подумали вместе со мной, кто эти люди, прекрасно информированные о делах вашего мужа.

— Ничем я не могу вам помочь. Все, что я знала, я рассказала. Если я что-нибудь вспомню, я вам позвоню.

— Хорошо. Постарайтесь вспомнить — это важно. Для вас важно.

Если раньше в глубине души у меня еще бродили какие-то неясные сомнения относительно роли Позднякова, его поведения и степени вины, то теперь я окончательно уверился в том, что преступниками ему была отведена роль не целевого объекта их бандитского умысла, даже не роль жертвы мести. Он в их глазах был только средством, очень эффективным средством для совершения других, более важных преступлений: удостоверение

и пистолет интересовали их стократ больше всей личности Позднякова, его чести, достоинства, всей его жизни.

И чтобы спокойно, наверняка шарить по квартирам Пачкалиной, Рамазановой и других, мне еще неизвестных людей, они пошли на преступление, в котором было второе негодяйское дно — тщательный расчет на то, что отвечать за него придется не им, а другому, уже пострадавшему от них человеку.

Вот это замечательное хитроумие и вызывало во мне азарт, профессиональную злость, каменную решимость выудить их из мглы неизвестности и взять за горло. И почему-то именно после «разгона» у Рамазановой во мне поселилась уверенность, что они не уйдут от меня. Я тогда и сформулировать точно не мог, в чем состоит их ошибка, но действия их стали повторяться, а для преступников первый же повтор — начало краха. Халецкий любит говорить, что формулировка системы есть первый шаг в ее решении. А то, что они уже повторились, свидетельствует о наличии какого-то принципа, внутреннего механизма в их действиях, и мне надлежало исследовать эпизоды «разгонов» таким образом, чтобы понять образующую их систему.

Я уселся за стол, достал лист бумаги и стал на нем рисовать кружки и квадратики, изображавшие фигурантов по делу. В кружки я вписывал фамилии людей, в той или иной мере причастных к «разгонам», а в квадраты — имевших отношение к созданию метапропитозола. Фигурки заполняли лист, и я думал о том, что часть из них будет мною полностью заштрихована как попавшая сюда случайно или по недоразумению, многим только еще предстоит возникнуть, какие-то, особо важные, будут обведены красным карандашом, но задача моя состояла в том, чтобы соединить их линиями, которые должны были в жизни материализоваться в логически определенные, причинно вызванные устойчивые человеческие связи, в быту называемые нами завистью, страхом, алчностью, потребностью жить за чужой счет, — все то калейдоскопическое переплетение дурных склонностей, из которых преступник сплетает сеть для людей, оставляя за мной необходимость расплести этот клубок страстей и поступков, ведущих к его логову.

И еще я знал точно, что у всех, даже умных и опытных преступников есть одно уязвимое место: они не уважают и не боятся следствия, полагая, что уж они-то продумали и рассчитали все так, чтобы наверняка не попасться. А опасаются они только извечного врага фартовых людей — случая, который один только и может все их дело провалить; и никогда не приходит им в голову, что следствие как раз стоит на коллекционировании и оценке этих случаев.

Я рисовал свою схему, размышляя, как короче и вернее следует связать мои кружки и квадратики, у меня возникли уже интересные варианты, и совсем я не представлял себе, что к моему кабинету по коридору идет секретарша Тамара и несет весть, которая залет всю мою схему непроницаемой тушью загадки, разорвет уже наметившиеся связи, перебросит фамилии фигурантов из кружков в квадраты и наоборот, превратит мою задачу в математический ребус...

Тамара открыла дверь и протянула мне конверт:

— Генерал велел передать вам... — И ушла.

Письмо было уже вскрыто, и стоял на нем фиолетовый штамп канцелярии — за невыразительным входящим номером было зарегистрировано послание выдающееся. На конверте написано: «Москва, Петровка, 38. Главному генералу в МУРе». Внутри — неряшливый лист желтоватой бумаги, весь в каких-то пятнах, потеках, мазках не то жира, не то рассола — такие остаются на газете, в которую заворачивают селедку. И даже запах от нее был неприятный. Но содержание письма испугало все остальное:

«Начальник! Порошок, которым глушанули вашего мента на стадионе, возит в «Жигуле», в тайнике заднего бампера, один фраер. Номер машины — 38—42».

Письмо просто оглушило меня. Я перечитывал его вновь и вновь, пытаюсь сообразить, кто мог быть его автором. Кто этот «фраер», который возит метапропизол в тайнике? Неужели один из шайки решил сдать другого? Это маловероятно, тогда ведь и ему конец. Или случайный свидетель? Или один из тех, с кем я уже говорил, и он хочет навести меня на след, сам оставаясь в тени? Или, наоборот, хотят сбить с толку, чтобы я потерял время? Или направление поиска?

Письмо похоже на вымысел. Оно по стилю неорганично — человек, знающий выражение «тайник в заднем бампере», не употребляет слова «фраер», «мент» в обычной речи. Нелепый адрес — «главному генералу». Все это совсем непонятно.

Обратного адреса, конечно, не было, но штемпель отправления — московский. И еще одно обстоятельство насторожило меня — индекс нашего почтового отделения — 118425 был тщательно вписан в клеточки адресной колодки на конверте. Автор письма, судя по листу, на котором оно было написано, не похож на аккуратного чистюлю, и он наверняка знал, что письмо на Петровку доставят и без индекса почтового отделения. Но он все-таки прилежно вывел индекс. Почему? Может быть, он хотел, чтобы письмо пришло вовремя, поскорее?

Кто же он, отправитель этого загадочного письма?

Преступник?

Не его ли дрожащие пальцы, что вчера так тщательно вписывали в решеточку шифровой индекс, так же старательно две недели назад всыпали в бутылку метапропизол для Позднякова?

Слабый человек, знающий какую-то отвратительную тайну, долго мучившийся и внезапно решившийся? Мне почему-то показалось, что он должен был внезапно принять свое решение: бумажка, на которой он написал письмо, наверное, валялась где-то на кухне, оказалась под рукой, он схватил ее, написал и, чтобы не передумать, заклеил конверт и опустил его в почтовый ящик.

Нет, нет, нет! У него не могло быть под рукой почтового индекса — его можно узнать только на почте или по телефону в справочной, и это отвергло мою гипотезу о внезапности принятого решения, у него было время передумать. А переписывать письмо не имело смысла — он понимал, что содержание бумаги полностью оправдывает ее внешний вид.

А вдруг я распечатываю пачку не с того конца? Может быть, это ветер с другой стороны? Тогда — кто? Не Панафидин же?

И не Благолепов. И не Горовой. И не Желонкина. Все они не могли. Точнее сказать, не должны. А может быть, неизвестный мне Лыжин? Тьфу, чертовщина какая-то начинается!

А не может это быть привет от Пачкалиной?

Подожди, надо все по порядку.

Я позвонил Саше Дугину в ГАИ и попросил установить имя владельца «Жигулей» номер 38—42. Он спросил:

— Какая серия?

— Какая там еще серия? — удивился я.

— Номер состоит из четырех цифр и трех букв — МКА, МКП, МКЕ — это и есть серия. Ты буквы знаешь?

— Нет, букв у меня нет.

— Тогда это надолго работа — знаешь, сколько времени понадобится, чтобы выбрать тебе из регистра все номера.

— Сашок, постарайся побыстрее — мне это просто позарез нужно.

— Ну, сегодня точно не успею — время к шести пошло, да и пятница все-таки сегодня.

— Да ты что? — взвился я. — Это, значит, до понедельника, что ли?

— Да не бушуй ты там. Я завтра дежурю. Позвони с утра — дам я тебе список. Номерок повтори, — я продиктовал еще раз номер, слезно поклявшись не подвести меня, и он клятвенно заверил найти до завтра всех владельцев «Жигулей», у которых номер 38—42.

А я еще раз перечитал письмо, спрятал его в конверт, конверт положил в папку, запер документы в сейф, и сейф опечатал своей печаткой — все равно мне здесь до понедельника делать было нечего.

И поехал домой к Пачкалиной.

Покосившийся деревянный дом, в котором проживала Екатерина Пачкалина, стоял на «красной черте»: по плану реконструкции улицы его должны были снести в течение года. Но пока дома стояли, и люди в них жили тесно, в постоянных ссорах и повседневном добрососедстве, взаимной связанности и полной открытости друг перед другом, потому что коммунальная кухня и драночные стенки исключали всякую возможность секретов и какой-либо изолированной жизни.

Я присел на скамейку к старухе, покачивавшей в колясочке ребенка и, очевидно, томившейся отсутствием собеседников.

— ...Каждый год ходят комиссии и ходют, и все обещают, конечно: в следующем квартале переселять будем. Мои-то домашние, семейство мое, конечно, ждут не дождутся, а мне-то как раз и не к спеху — чего я там в новом доме не видела? Все жильцы новые, иди с ними знакомься, раньше помру, чем всех узнаю, а тут как-никак родилась я семьдесят три годочка назад, тут бы и помереть: может, всем домом и проведат меня, вместе все и помянут. Э н т о т вот — уже четвертый правнук, мне бы отдохнуть, а все без бабки Евдокии никак не обойтись. Да ничего, не жалеюсь я, детки-то у меня все приличные, все в люди повыходили. Краснухина? Мать? Как же не знаю, мы здесь с Надеждой сколько лет вместе живем. Она, конечно, меня мо-

ложе будет, но здоровья у ней никакого не осталось. Третьего дня ее снова на «скорой-то помощи» в больницу доставили. Сходить бы надоть, проведать, да вот от этого не оторвешься. Схожу, схожу, только вот этого с рук скину, а то ведь она от своей лярвы-то передачи в жизни не дождет. Ишь, кобыла здоровущая, ряжку красную отъела, хоть прикуривай, а матерь совсем погибает. И видано-то где это — мать на «карете» в больницу, а она себе сразу хахаля в дом. Вон из окна слышать, как надрывается...

Я взглянул на приоткрытое окно, воспаленное красным абажуром. Оттуда доносился чуть хрипловатый пьяненький женский голос. Женщина пела какую-то частушку или песенку, и от прочувзованности концы фраз подвигивали... Я прислушался и не узнал вязкого голоса Пачкалиной в этом игривом мелоделировании. Голос выводил:

У меня миленок лысый,  
Дак куда же его деть?  
Если зеркала не будет,  
Стану в лысину глядеть...

— ...Через нее мать и болеет все время, силов у нее никаких нет, терпеть ее сучьи штучки, — неспешно и обстоятельно повествовала бабка Евдокия. — Вот взять хоть, к примеру, семью Карельских — тоже девка взрослая у них. И с мужем у ей тоже чегой-то там не вышло. Так живет со своими сродственниками, мальчика воспитывает, ведет себя, как человек приличный, работает и на дом еще работу берет, чтобы парня своего всем ублажить, ни в чем чтоб сиротой безотцовской не чувствовал, и одно про нее слово: кроме хорошего, ничего плохого не скажешь...

Я очень порадовался столь достойному поведению взрослой дочки в семье Карельских, но сейчас меня больше интересовало плохое поведение Пачкалиной, и я постарался вернуть разговор, ускользающий из накатившейся колеи, в нужное мне направление:

— Может быть, просто Катерина — молодая еще? Перебесится, заведет ребенка, и все станет на свое место?

— Это Катька-то — молодая? Да ей в этом году, почитай, тридцать стукнуло, а она что ни вечер, накрутит на лбу кудри-завлекалки — и пошла по мужикам. Ей мать-то говорит, истинный крест, сама не раз слышала: угомонись, говорит, Катька, будь человеком, как все люди, не курвничай, не дешевись, а она смеется нахально в глаза: с моей яркой красотой, отвечает, с моей броской внешностью, говорит, я себе могу самого непрекраснейшего мужа найти. Да только, видать, красота ее нужна на раз, между пальцами помуслить, а вот жениться — чегой-то не находится охочих.

— Ну а как же первый ее муж?

— Сашка-то Пачкалин? Как же, помню я его, лет восемь, либо семь назад он на ней женился. Да нажились-то они вместе, как вороны на заборе: месяца два все у них было ничего, а тут она возьми да не приди домой ночевать, загуляла где-то, видать, крепко. Ну он ей утром, конечно, поставил по фонарю под оба глаза, собрал свой чемоданишко и матери, Надежде-то Ивановне, и говорит: «Очень я вас, мамаша, уважаю, потому

как вы во всем правильный человек, но даже за-ради вас с энтой, прости господи, лахудрой жить не желаю». И все — только его здесь и видели, только и памяти у ей осталось об нем, что фамилию его при себе носит. И загуляла. И водочку выпивать стала или там вино какое, не знаю уж, зря говорить не стану, вместе с ней мы не пили. Черт те с кем попадая водится, вот и милиция на обыск явилась, а мать от волнений всех этих в больницу попала. Да и как тут не попадешь, когда один день является милиция, обэхеес, обыск делают, весь дом вверх тор-машками, имущества всякого бесценного тьму забирают, а на другой день снова являются, вроде бы те не так все сделали, или прав они не имели забирать, в общем, разобрать там ничего невозможно...

— А откуда же у Екатерины имущества столько набралось? С зарплаты ее?

— Какая там зарплата! Семьдесят целковых в месяц! С таких денег шуб себе понакупаешь, как же! Я так думаю, что это от Николай Сергенча осталось, от прежнего хахаля. Вот за него как раз, я так думала, что она и выйдет замуж, года три сна с ним ходила. Но чегой-то там у них то ли не склеилось, то ли чего, но пропал он совсем, значит, говорили даже люди, будто посадили его. Его-то Катька, видать, уважала, али боялась его, но только вела себя во всяком случае прилично при нем. Он мужчина начальственный был. Да и по ем видать, значит, только хоть взглянешь разок, что у него всего полно — и денег, и баб, и вещей, а вернее сказать — нахальства. Очень важно себя держал. Правда, и под его важность, видать, нашлася жесткая струна...

— А давно его здесь не видно?

— Да уж года два, как не кажется...

Я еще немного поговорил с бабкой Евдокией, но туг заплакал в колясочке «энтот», старуха стала шикать на него и сильнее раскачивать коляску, а я вошел в подъезд, поднялся по скрипучей щелястой лестнице в бельэтаж и позвонил в дверь Пачкалиной.

Я стоял на лестнице в темноте, и из освещенной прихожей Пачкалина никак не могла рассмотреть меня, и когда шагнул на свет, она, все еще не узнавая меня, сказала своим тягучим голосом, так не похожим на тот, что недавно выводил про «миленка лысого»:

— Позвольте, товарищ, позвольте, чего-то не припомню я вас...

Я усмехнулся:

— Здравствуйте, Екатерина Федоровна. Мы с вами так недавно виделись. Вот решил еще разок заглянуть — без предупреждения. Ничего?

— Ой, не узнала я вас, значит, не узнала. Гостем будете, заходите, значит, гостем будете...

На разоренном пиришественном столе стояли недоеденные сардины, салат, копченая колбаса, селедка, картошка в масле и искромсанная вареная курица. Пластмассовый бидон с пивом и несколько бутылок. Я только сейчас вспомнил, что за весь день так и не удалось толком поесть. И этот пир предназначался не мне, а мордастому парню в териленовом костюме. На безымянном

пальце у него было толстое резное кольцо, а на мизинце — длинный серый ноготь.

— Здорово, — сказал он. — Хена меня зовут, слышал? Ты че?

Он выговаривал свое имя с придыханием и вместо «г» у него получалось густое, насыщенное «х».

— Ну, ты че? Чё тут топчешься, друг, вишь: площадка занята! Ты че? Плацкарту показать? Давай, чеши отседова, а то я ты живо на образá пошлю...

Парень был давно, мучительно пьян. Я спокойно уселся на стул, огляделся.

— Ты че? Потолкуем? Может, выйдем? Потолкуем?

Я посмотрел на Гену и засмеялся. По виду парень был похож на продавца мебельного магазина — у них обычно такие же алчные, но туповатые лица. И то, что он хотел «качать права», было тоже смешно — «урки» про таких говорят: «не так блатной, как голодный».

— Это моя женщина, — настойчиво бубнил Гена, — и ты к ней грабки не суй. Если ты ко мне, как человек, то и я с тобой выпью. Ща булькнем по стакану, и порядок. Катька, наливай...

— Я с тобой, Гена, водку пить не стану. Я инспектор МУРа, и пришел сюда по делу. Поэтому ты посиди десять минут тихо, чтобы мне не пришлось тебя отсюда выпроводить вообще.

— Как не будешь? Ты че? Ты че еще?

В это время очнулась Пачкалина, все это время неподвижно стоявшая у двери и, видимо, своим неспешным умом перемалывавшая мысль — зачем я сюда пришел? Она подошла к Гене и, почти взяв его на руки, вышвырнула в соседнюю комнату:

— Сиди, тебе говорят, сиди и не долдонь. Дай с человеком поговорить, с человеком, значит...

Из соседней комнатухи, отделенной только толстой плюшевой портьерой, доносился голос Гены:

— Ты че? А? Ты че? Если ты как человек?.. То и я могу с тобой выпить...

Пачкалина села за стол, тягуче-воркующе спросила:

— А может, гражданин Тихонов, покушаете чего? И выпить имеется. Вы же после работы — можно и разговеться маленько...

И голос у нее был хоть и тягучий, но не было в нем изнурительного занудства, а гудели низкие завлекающие ноты, и ни разу во всей фразе не сказала она своих любимых «как говорится-конечно-значит». Ворот трикотажного легкого платья растегнулся почти на все пуговицы — нарочно или случайно, когда она волокла своего друга Гену, но сейчас-то уж наверняка она чувствовала своим могучим женским естеством, что я вижу в распахнутом вырезе ее грудь — белую, крепкую, круглую, как у статуи «Девушка с веслом» в парке культуры, но застегиваться не желала, бросив на прилавок жизни все свое богатство — уютную комнатенку, крепкую выпивку, вкусную закуску и аппетитную белую грудь.

Я вспомнил рассказ бабки Евдокии — «с моей броской внешностью и яркой красотой», и мне почему-то стало жалко Пачкалину, когда-то самую популярную в Кунцеве девицу по прозвищу Катька-Катафалк. Она стала разбирать на столе место, достала из серванта чистые тарелки и вилки, и, когда она на-

гибалась над столом, в вырезе ее платья светили две круглых мраморных луны. Она сновала по комнате проворно, легко, но каждый ее маршрут неизбежно проходил мимо моего стула, и она вроде бы случайно — теснота-то какая — задевала меня тугим бедром или мягким плечом, а накладывая закуску на тарелку, согнулась надо мной, и тяжелая тугая грудь ее легла мне где-то на шею, около затылка, и я слышал частые сильные удары ее глупого жадного сердца и тонко струящийся от нее горьковатый, чем-то приятный аромат зверя.

Я отодвинул от себя тарелку с закусками, взял кусок черного хлеба, густо намазал его горчицей, круто посолил и стал не спеша жевать. Потом, вспомнив про пиво, налил себе стакан и выпил его. Пачкалина уселась напротив и во все глаза смотрела на меня. В ее взгляде не было ни испуга, ни ожидания, а только искреннее удовольствие — настоящий мужик в дом вошел. И я с усмешкой подумал, что с таким выражением лица она кормила, наверное, Николая Сергеевича — сгинувшего года два назад друга, у которого всего было полно — и денег, и баб, и вещей, а вернее всего сказать, нахальства...

— Екатерина Федоровна, мне удалось кое-что узнать о похищенном мошенниками имуществе, — сказал я. — Во всяком случае, о предъявительских сберкнижках.

— Не может быть! — всплеснула руками Пачкалина. — Нашли?

— Пока нет.

— А чего же тогда узнали? — разочарованно протянула она.

— Я узнал, чьи это деньги, а это уже немало, — спокойно сказал я, морщась от паляще острой горчицы.

— Как это, значит, понимать — чьи? Как это — чьи? Мои, как говорится, мои, значит, конечно, деньги, мои...

— Нет, — покачал головой я. — Это не ваши деньги, это деньги Николая Сергеевича. И он вносил на предъявительские вклады, поэтому вы и не знали, в каких они сберкассах. Вот так-то.

— Это что ж такое вы говорите, это же, значит...

— Одну секунду, Екатерина Федоровна, — я взглянул на часы. — Сейчас начало десятого, значит, я отслужил сегодня тринадцать с лишним часов. Зарплату свою на сегодня я отработал выше маковки. Поэтому препираться с вами у меня сейчас нет ни сил, ни желания. Я вам в двух словах опишу ситуацию, а вы решайте — будет у нас разговор или я поеду спать. Значитца, ситуация такая: вас ограбили или знакомые Николая Сергеевича, или кто-то из знакомых его дал подвод на вашу квартиру. На счет шубы и драгоценностей ничего конкретного обещать вам не могу, но сберкнижки — это единственная зацепка, которой мы их можем ухватить. Они обязательно попытаются каким-нибудь путем получить вклады. Вам это понятно?

— Понятно, конечно, понятно, — кивнула Пачкалина.

— Я уже дал распоряжение по всем сберкассам внимательно присмотреться ко всем, кто будет истребовать вклады на такую сумму. Но эта сеть слишком велика. Нам нужно установить наблюдение именно за той сберкассой, куда явятся ваши мошенники. Это единственный путь для вас получить остальное, а для меня — задержать их. Они мне очень нужны, потому что натворили кое-что похуже вашего «разгона».



— А что же от меня-то требуется? — спросила Пачкалина.

— Подробнее рассказать мне о Николае Сергеече. Он ведь сидит сейчас, а?

— Не знаю я никакого Николая Сергееча, — сказала медленно Пачкалина, и мне, несмотря на досаду, снова стало ее жалко: ее тусклый мозг должен был сейчас проанализировать массу всяких комбинаций, чтобы понять — правду говорит инспектор или это их обычные милицейские ловушки, направленные против нее и уважаемого Николая Сергееча. Интуицией человека, всегда живущего в напряженных отношениях с законом, она реагировала однозначно — отрицать лучше всего все. А думать ей было тяжело. Эх, если бы она могла думать грудью!

Я помолчал, выпил еще стакан пива и почувствовал, что с голодухи и усталости за весь этот треклятый бесконечный день стал пьянеть. Из соседней комнатки вдруг раздался залихватый пронзительный храп — Гена не дождался конца нашего разговора.

— Послушайте, Пачкалина, мне это все надоело. Вам охота, чтобы я вам из рукава вынул и шубу, и кольца, и сберкнижки, а откуда это и что — ни мур-мур. Лучше всего, чтобы из средств Госстраха. Но даже там спрашивают: при каких обстоятельствах был нанесен ущерб?

— Что же мне делать-то? — испуганно спросила Пачкалина.

— Ничего. Я бы и так мог найти вашего Николая Сергееча.

— А как? — быстро подключилась Пачкалина, и я усмехнулся.

— Очень просто. Дал бы запрос по местам заключения в Москве: какой Николай Сергееч с такими-то приметами содержался в их учреждении в течение последних двух лет, показал фотографию вашим соседям и точно установил бы, кто был ваш приятель. Но у меня и так дел полны руки, чтобы еще этим себе голову морочить — ваши ценности вам нужнее. Так что, за сим разрешите откланяться. Если поймем мошенников когда-либо, я вас извещу. Сможете им вчинить гражданский иск — лет за восемьдесят они, может быть, отработают вам должок...

Я встал. На лице Пачкалиной была мука — следовало думать, и не просто думать, а думать быстро и принимать какие-то решения. Ей ведь было невдомек, что независимо от того, скажет она что-либо мне о Николае Сергеече или нет, я завтра же с утра стану его искать именно так, как уже рассказал ей. И устанавливать, не было ли связи между ним и Умаром Рамазановым, в доме которого произвели «разгон» те же аферисты.

— Подождите, — сказала Пачкалина. — Николай Сергеечу никакого вреда от этого не будет?

— Опять двадцать пять! Ну какой же может быть ему вред? Он ведь давно осужден, наверное?

Пачкалина тяжело задышала, у нее даже ноздри шевелились от принятого решения.

— Ладно, скажу. Обоимов — его фамилия. Николай Сергееч, значит. 23-го года рождения. Он был начальник цеха... этого, значит, ...спортивного оборудования, ну, инвентаря, что ли... Семья у него, как говорится, семья. Но он с женой жить не хотел, конечно. Не хотел. Больная она по-женски. Жениться на мне обещал, очень, значит, замечательный мужчина он был, на-

стоящий человек, представительный, с положением, значит, с положением...

Пачкалина заплакала. По-настоящему — негромко, сильно, и, видимо, ей не хотелось, чтобы я видел, как она плачет, и про распахнутое платье свое она забыла, и забыла про громко свистывающего носом Гену с золотым перстнем и длинным серым ногтем на мизинце.

Судорожно сотрясилось все ее крепкое здоровое тело, в которм наверняка не было никаких болезней, и, сам не знаю почему, было ее очень жалко...

## ГЛАВА 8

Лифт не работал. Об этом извещала табличка на двери и голова монтера, торчавшая в сетчатом колодце, как редкостный экспонат на модернистской выставке. Задрав вверх голову, он кричал кому-то:

— Эй вы, охломоны! Забыли про меня? Подымай коляску!

Смешно было мне слышать такие слова в нашем строгом учреждении, где в течение многих лет так боролись против всяких жаргонных словечек, что перегнули палку в другую сторону и выродились на свет какие-то ужасные, специфически милицейские официальные выражения вроде «висяк», «отсрочка», «фигурант», «самочинка»...

Неохота было идти на пятый этаж пешком, я спросил монтера, сидевшего на крыше лифтовой кабины:

— Скоро почините?

— Скоро, — пообещал он, нажал какой-то там контакт на крыше и плавно вознесся вверх на кабине ввысь.

Я не стал дожидаться, махнул рукой и пошел на пятый этаж по лестнице. А поскольку марши у нас огромные, у меня оказалось полно времени, чтобы обдумать свои дела на сегодня. Конечно, было бы так прекрасно, если бы позвонила Рамазанова и сообщила что-нибудь сокровенное. А ей ведь наверняка есть что рассказать мне. Но ее обещание позвонить стоило полкопейки в базарный день. Она мне звонить, безусловно, не станет, даже если точно узнает фамилию, имя-отчество и место жительства аферистов. Резон тут простой — страх за судьбу мужа всегда в ней будет сильнее сожаления о потерянных ценностях или стремления отомстить негодяям. Она ведь не хуже меня понимала, что «разгон» учинили люди, прекрасно информированные о делах мужа. И знание их было так велико, что могло включать сведения о его нынешнем месте нахождения. Поэтому Рамазанова наверняка уже приняла решение: черт с ними, с деньгами, и уже миновавшими переживаниями! Как это ни странно, но ей, конечно, больше хочется, чтобы я не поймал мошенников, поскольку в этом случае всегда будет риск, что я могу вытрясти из них сведения об Умаре Рамазанове...

По субботам в наших коридорах тихо — не спуют ошалевшие от хлопот инспектора, не стучат каблучками секретарши с бумагами, не видно жмущихся к стенам свидетелей и потерпевших. Гулкое эхо моих шагов провожало меня по всему коридору до самого моего кабинета. Когда случается бывать здесь в такие

дни, я чувствую себя хозяином огромного пустого дома, брошенного только на мое попечение.

Это ощущение еще усиливалось в моем кабинете, где тишина была особой, характерной только для больших пустых зданий: безмолвие, оттененное какими-то очень далекими, еле слышными стуками, шорохами в трубах отопления, внезапным острым звоном оконного стекла от проехавшего мимо автобуса.

Сначала я хотел позвонить в ГАИ насчет номера «Жигулей», но палец чуть ли не бессознательно набрал номер телефона Лыжина — сейчас его можно, наверное, скорее всего застать дома — ведь сегодня суббота, и еще довольно рано, около десяти часов.

Долго гудели замирающие в трубке сигналы вызова, никто не подходил к телефону, и я собрался было положить трубку, но гудок вдруг расколо пополам, и я услышал уже знакомый мне раздраженный старушечий голос:

— Кого надо?

— Позовите, пожалуйста, Владимира Константиновича.

— Нету его.

— А когда все-таки его можно застать?

— Кто его знает! Передать чего?

— Попросите его позвонить капитану милиции Тихонову, — я старался придать голосу медовую вежливость, чтобы не злить старуху, а то еще, чего доброго, не передаст.

— Скажу, — коротко ответила старуха и бросила трубку на рычаг.

Потом я позвонил в ГАИ, и у Дугина голос тоже был сердитый:

— Это ты, Тихонов? Замучил ты меня совсем со своим поручением. У меня тут дел полно, и с картотекой для тебя пришлось копаться.

— А выбрал номера-то?

— Выбрал. Я оставил только те, которые установлены на «Жигулях».

— Спасибо, Сашок, они мне как раз и нужны.

— Значит, давай, записывай, я тебе продиктую. Серия МКЛ — Дадашев. Записал?

— Записал. Дальше...

— Серия МКП — Садовников...

— Дальше.

— Серия МКУ — Шнеер...

— Дальше.

— Серия МКЭ — Панафидин...

— Как-как? Как ты сказал?

— Панафидин Александр Николаевич, проживает Мерзляковский переулок, дом...

— Стоп, Сашок. Хватит, мне другие не нужны.

— Больше вопросов не имеется? — переспросил Дугин.

— Спасибо тебе, старик, ты меня здорово выручил.

— Большой привет, — сказал Дугин и отключился.

Вот уж чего-чего, а такого поворота событий я не ожидал никак. Письмо вывело меня прямо на Панафидина. Что же это? Кто-то захотел помочь мне? Или захотел помочь правосудию? Или, может быть, цель письма — помешать мне? И ответить

правосудие? Или совсем здесь правосудие ни при чем, и кто-то хочет воспользоваться сложившейся ситуацией и наклепать на Панафидина?

А если письмо — правда, значит, метапропизол есть и Панафидин валял со мной дурака? Но почему же он скрывает, что получил метапропизол? И кто человек, знающий такую сокровенную тайну? Враг? Соперник? Или лицемерный друг, желающий подкопаться под него? Кто же он?

А может быть, это не навод, а навет?

Вдруг кто-то сознательно клеветает на Панафидина? Или это хотят вывести из игры меня персонально — ведь если я брошусь обыскивать машину Панафидина и ничего не найду, это может вызвать серьезный скандал.

Как же быть, что предпринять? Какое принять решение? Ведь такого второго случая скоро не представится...

Я метался по своему кабинету, не в силах решиться на что-то определенное. Из головы напрочь вылетели Пачкалина, Рамазанова, их возлюбленные расхитители, все эти «разгонщики»... Метапропизол, если в письме написана правда, был почти рядом. Но как его взять?

А может быть, ничего нет? Может быть, это мистификация? Нелепый, злобный розыгрыш? Но эти люди не похожи на шутников — когда они отравили Позднякова — если это они, — ими руководило вовсе не стремление повеселиться.

А вдруг письмо написано человеком, который случайно знает об этой истории, но боится заявить о ней вслух? Если он действительно хочет добра и блага, но недостаточно мужествен для того, чтобы сказать во всеуслышание — вот преступник?..

И больше я не чувствовал себя хозяином в большом доме, оставленном на мое попечение. Даже тишина изменилась — она стала выжидательно-угрожающей, словно ждала моего решения, одинаково бесстрастная к ошибке и к самому точному выбору.

Я захлопнул дверь кабинета, спустился на третий этаж и подошел к приемной Шарапова — как было бы хорошо, окажись он на месте, мне так был нужен чей-то разумный совет!

Тамары на месте не было, а дверь в кабинет к шефу открыта. Я заглянул и увидел, что Шарапов сидит за столом и что-то пишет.

— Здравия желаю, товарищ генерал.

Он поднял голову от бумаг и мгновенно в меня вглядывался, словно не сразу признал, и это мгновение было длинной в хвост последней мысли, которая убегала, как звук отрубленного слова, доносящийся из уже выключенного телевизора.

— Ба-а! Сколько лет, сколько зим, — сказал, ухмыляясь, Шарапов. — Что это ты здесь в свободное время обретаешься?

И по его улыбке, хотя и ехидной, я видел, что он доволен, увидев меня здесь.

— У нас свободное время начинается на пенсии — вас цитирую, как классика.

— Ну вот обрадовал. Мне, значит, до свободного времени совсем чуток осталось. Зачем пожаловал?

— Посоветоваться, — сказал я смиренно.

— Ага! Это надо приветствовать, — кивнул генерал. — Как я

понимаю, тебе нужна санкция на какой-нибудь недозволенный поступок: в остальных случаях ты по возможности избегаешь со мной советоваться.

— Недозволительность моего поступка является следствием вашего поступка, — дерзко сказал я.

— Это как понимать тебя прикажешь?

— Вы мне вчера письмоцо переслали...

— А! Интересное письмоцо, подметное. Анонимочка по классу «люкс». Ты ему веришь?

— Не знаю. Я проверил машину по картотеке ГАИ — она принадлежит Панафидину.

— Это профессор тот самый? Молодой?

Я кивнул.

— Эге. Значит, неведомый доброжелатель информирует нас о том, что Панафидин возит в своей машине этот... метапроптизол? Так это надо понимать?

— Выходит, что так, — сказал я. — Правда, он и не выдает себя за нашего доброжелателя.

— Кстати, ты не поинтересовался, случаем: Панафидин-то этот — сам не болельщик футбольный? На стадионе бывает?

— Нет, не поинтересовался. Мне вообще такая мысль в голову не приходила.

— Жаль, что не приходила. Чем больше мыслей приходит в твою многомудрую голову, тем лучше. А ко мне зачем пришел, не понял я?

— Я и сам не знаю — разрешение на обыск машины Панафидина вы же мне вряд ли дадите.

— Не дам, — почти весело сказал Шарапов. И в легкости его тона твердость была несокрушимая. — Конечно, не дам. Если на базе таких серьезных документов мы у почтенных людей обыски учинять станем, то знаешь, куда это нас может завести?

— А что же делать? — спросил я в отчаянии. — Вдруг письмо — правда?

— Это было бы изумительно!

— Но что нам толку с этой изумительности? Вот вы бы что на моем месте сделали?

— Я? — Шарапов переспросил меня так, будто я задаю детские вопросы: и слепому видно, что сделал бы он на моем месте. — Я бы пошел к Панафидину и нашел с ним общий язык, поговорил бы с ним душевно.

— С ним, пожалуй, найдешь общий язык! — зло потрянул я головой.

— Не найдешь — значит разговаривать не умеешь, — уверенно сказал генерал. — Со всеми можно найти общий язык. Стройматериал только для такого моста потребен разный. В одном месте — внимание, в другом — ласка и участие, в третьем — нахальство, а где надо — там и угроза. Вот так. Ты только, как прораб, заранее должен рассчитать, что для строительства тебе понадобится.

— Прямо как в песне — «мы с тобой два берега у одной реки». Боюсь, повиснет мой мост в воздухе, мы с ним берега разных рек, — сказал я, а Шарапов засмеялся, покачал головой, хитрые монгольские глаза прищурил:

— Это ты не прав, друг ситный. Все мы берега у одной реки, и сами мы, как все берега — разные, а вот река нас связала всех одна, потому как название ей — жизнь.

Пошучивал со мной Шарапов, делал вид, что пустяковые вопросы мы с ним решаем в неслужебное время, все это ерунда и праздное шевеление воздуха, и не стоит из-за этого переживать и волноваться, но мы ведь десять лет сидим с ним на одном берегу — он чуть выше, я — пониже, но я хорошо знаю, что в час тревоги мы вместе спускаемся с откоса и по грудь, а когда и по горло, идем в быстром, холодном и непроницаемом потоке под названием жизнь, и его иронический тон не мог заслонить для меня пронзительно-зеленых огней сердитого любопытства, которые загорелись в его всегда припухше-узких глазах: ему тоже было очень интересно — действительно ли возит профессор Панафидин в машине загадочный транквилизатор, которым «глушанули на стадионе его мента».

— Ты поговори с ним с точки зрения научной любознательности, — говорил он. — Ищет же профессор это лекарство, вот ты ему и предложи вместе поискать в машине. Корректно, вежливо, для удовлетворения научного и спортивного интереса. И ты будешь удовлетворен, и не прозвучат эти ужасные грубые слова — «недоверие», «ложь», «обыск»...

— Это — если он согласится. А если — нет?

— Тогда надо будет проявить находчивость. Если своей не хватит, пригласи кого-нибудь из КВН — они тебе подскажут. А то ты у меня только веселый, а с находчивостью у тебя перебои...

Я не сердился на Шарапова — не мог он мне дать указание обыскать машину Панафидина. И я это хорошо понимал. Жалко только, что на свою находчивость я и в самом деле не сильно полагался.

Вернувшись в свой кабинет, я позвонил Панафидину домой.

— Он в городе и дома еще не скоро будет, — ответил приятный женский голос. — А кто его спрашивает?

— Моя фамилия Тихонов, — сказал я и подумал, что, если это жена Панафидина, было бы не вредно и с ней поговорить. — А вы Ольга Ильинична?

— Да, — ответила она, и тень удивления проскользнула в ее голосе.

— Добрый день, Ольга Ильинична. Я инспектор уголовного розыска...

— А-а, да-да, Александр говорил мне...

— Если это не очень нарушает ваши планы, я хотел бы и с вами побеседовать, а тем временем Александр Николаевич подъедет, а?..

— Господи, ради бога, — готовно согласилась Панафидина: — Адрес знаете?

— Спасибо большое. Знаю, еду...

Я вышел на улицу и стал дожидаться дежурной машины. День стоял бесцветный, сизый. Было холодно, ветрено, мелкий, секущий дождик порывами ударял в асфальт серыми брызгами. На другой стороне улицы молодой парень в засаленной куртке возился с «Запорожцем». У этой смешной машинки мотор находится не как у всех автомобилей — впереди, а сзади, и от-

того, что парень заводил мотор ручкой, издали было похоже, будто маленькому нахохленному ослику накручивают хвост. По тротуару летела желтая листва, обрывки бумаги, какой-то мусор, и от всего этого сумрачного дня с морозящим дождем и холодным ветром на душе было поганю. В этом тоскливом настроении, с неясным ощущением невыполненности каких-то обязательств, неустроенности всех дел и несовершенства всего мира, я и приехал к Панафидиным в Мерзляковский переулок.

Прямо в прихожей Ольга Панафидина спросила:

— Что будете пить — чай, кофе?

Я замахал руками:

— Нет-нет, ни в коем случае, я не хочу вас утруждать.

— О чем вы говорите, какой труд? Проходите в гостиную, я сейчас принесу.

Я уселся в кресло перед низким журнальным столиком, и буквально через несколько минут Ольга внесла на подносе чашечки с кофе, сухари и нарезанный ломтиками сыр.

— Вот теперь можно беседовать, — сказала она, усаживаясь напротив. — Мне муж говорил, что вы были у него и интересовались Лыжиным...

И я сразу насторожился, потому что в разговоре с Панафидиным имя Лыжина не только не упоминалось, я вообще не знал тогда о существовании Лыжина. Значит, Панафидину еще в то время, когда я посетил его, было известно, что Лыжин занимается получением метапропизола или уже получил его... Но ничего не сказал.

— Да, меня интересует направление работ Лыжина, — сказал я, решив предоставить Ольге Панафидиной инициативу в разговоре. А сам отхлебнул маленький глоток кофе, который хоть и не был сварен со всеми ритуальными священнодействиями ее отца, но это все равно был хороший, очень вкусный кофе — чувствовалась семейная школа, доведенная до уровня традиции.

— Видите ли, мы вам мало что можем рассказать с Лыжине, потому что последние годы практически не общались с ним, — сказала Ольга, раскуривая сигарету.

— Что так? — поинтересовался я.

— Володя Лыжин очень сильно изменился, — вздохнула Ольга. — С ним произошла метаморфоза, хоть и прискорбная, но довольно-таки обычная. Он стал профессиональным неудачником.

— Разве есть такая профессия — неудачник? — серьезно спросил я.

— Не могу утверждать, но когда любительство становится основным занятием, то оно превращается в профессию, — в назидательности фразы я уловил знакомые интонации ее мужа. — Володе не везет последние годы во всем, и это не могло не отразиться на его поведении.

— И давно ему так не везет?

— Ну, точно я не могу этого сказать, но ведь начинал-то он очень хорошо. Впрочем, в жизни это часто бывает: до какой-то определенной полосы все. за что ни берешься, — все получается, все удается, со всех сторон говорят: «Ах, какой человек перспективный! Ах, какой сдаренный! Какое у него будущее!»

И вдруг подступает какой-то рубеж — все летит насмарку, все из рук валится, ничего не выходит, все не получается...

Я внимательно слушал Ольгу и готов был голову дать на отрез, что у нее «не подступал какой-то рубеж» — у нее все всегда должно было получаться. И откровения, которые она мне сейчас преподносила, не она придумала и не на себе почувствовала, а услышала от мужа или отца, или от кого-то из знакомых, и одна-единственная поперечная морщинка на этом атласном лобике выступила не от горьких раздумий и не от тягостных открытий. Откинувшись в удобном кресле, она вещала какие-то банальности и в конце каждой фразы для убедительности, для большей весомости своих сентенций делала дымящейся сигаретой изящный полукруг, оставляя в воздухе синий расслаивающийся крючок — не то вопросительный знак, не то обрывок своей «глубокой» мысли. Этих крючков-вопросов-мыслей было уже много, они быстро истаявали, и она создавала новые.

«Барынька», — подумал я про нее. Почему-то это слово казалось мне особенно унижительным и наиболее точно характеризующим Ольгу. И по какой-то, мне самому не ясной ассоциации подумалось, что такие люди, как Панафидин, должны были бы жениться на более серьезных женщинах.

— Простите, а вы не можете вспомнить, когда у Лыжина подступил вот этот самый роковой рубеж?

Ольга пожала своими блестящими кримпленовыми плечиками:

— Естественно, что календарно мне этого не вспомнить, но факт то, что Володя очень хорошо, ну просто исключительно удачно сотрудничал с моим мужем. Александр ведь очень во многом ему помог, подсказал, направил его, так сказать — ограбил его талант. А тот вдруг в один прекрасный день устроил истерику, и все пошло кувырком.

— А вы не знаете, из-за чего он устроил истерику?

— Какой-то у них скандал возник на работе, Володя неправильно лечил больную, и Александру пришлось вмешаться и высказать принципиальную точку зрения. При этом Александр и не думал наказывать Лыжина или применять к нему какие-то меры, но тот вдруг встал в позу и ушел из лаборатории.

— Вы не допускаете, что у Лыжина могли быть на то основания какого-то нравственного порядка?

— Да о чем вы говорите? Я думаю, что он действительно сильно разволновался, и в этот момент в нем прорвалась сдерживаемая много лет зависть...

— Зависть? — переспросил я. — А в чем Лыжин мог завидовать Панафидину?

Ольга рассмеялась. Она от души смеялась глупости моего вопроса, любому профану понятно, в чем неудача-лаборант может завидовать молодому доктору наук, заведующему лабораторией, с которым когда-то сидел на одной институтской скамье. Ольга смеялась, обнажая свои прекрасные ровные белые зубки без единой пломбочки, и я видел только, что у нее клычки длиннее остальных зубов и, наверное, очень острые.

— Неужели вы даже на мгновение допускаете, что Лыжин мог поверить, будто он хоть на грань менее талантлив, чем Александр? Но у Александра все в жизни получалось так, как



он хотел, а у Лыжина ничего не получилось — отсюда и зависть. Но, к сожалению, завистник — сам себе первый враг, — убежденно заявила Ольга.

— Вы думаете, что Лыжин себе навредил?

— Еще бы! Он ведь очень способный человек, хотя и ужасно неорганизованный. Под руководством Александра он смог бы очень много достигнуть — при его помощи и поддержке. А так — потерял прекрасное место, работает в какой-то захудалой лаборатории, носится с сумасшедшими идеями...

Я перебил ее:

— Простите, а почему вы думаете, что лыжинские идеи — сумасшедшие? Ведь насколько я понял, ваш муж занимается теми же проблемами?

Ольга на глазах утрачивала уважение ко мне: нельзя всерьез говорить с человеком, который произносит вслух столько глупостей.

— Ну что вы сравниваете, дорогой мой! — в ее голосе появились покровительственные ноты. — Который год целая лаборатория, целый ансамбль квалифицированных специалистов не могут получить устойчивых результатов, и вы сравниваете их работу с усилиями пускай талантливого, но все-таки самоучки?

— Одну минуточку, разве Лыжин — самоучка? — спросил я.

— Это я, наверное, неправильно выразилась, Лыжин не самоучка, я хотела сказать, что он — кустарь. В наше время наука так не делается...

— Может быть, — сказал я. — Может быть, сейчас наука и не делается так. Но я совершенно уверен, что во все времена наука делалась, делается и будет делаться одними и теми же людьми.

— Не поняла. Что вы этим хотите сказать?

— Что, если бы не родился Эйнштейн, вряд ли его труд выполнил бы целый физический институт. Я слышал историю о том, как в двадцать втором году старый одесский счетовод Губерман сформулировал чуть ли не на базе элементарной алгебры теорию относительности. А когда узнал, что все это уже известно, от горя повесился. Но этого человека природа создала как резерв на случай неудачи с Эйнштейном.

— Это ненаучный подход, — упрямо наклонила голову Ольга, и ровные ее зубки блеснули из-под аккуратно покрашенных губ. — И уж во всяком случае к Лыжину никакого отношения не имеет.

— Может быть, — согласился я. — Я ведь и не возвожу свою точку зрения в научную теорию. А что касается Лыжина, то я как раз слышал, что у него есть результаты весьма серьезные.

— Ерунда все это, — категорически заявила Ольга. — Пустые разговоры, и если Лыжин даже получил что-то, то это не научное открытие, а артефакт.

Я вспомнил о поверье, будто бы супруги, прожившие вместе много лет, становятся сильно похожими. Применительно к Панафидиным это выглядело смешно, потому что уж если и была Ольга похожа на своего мужа, то это было сходство талашливо выполненной карикатуры с оригиналом. Ее наивное и в то же время категорическое отрицание вещей, явлений, поступков,

в которых она не разбиралась, не могла быть судьей, просто многого не понимала — все это сильно раздражало меня. Но я невозмутимо продолжал расспрашивать Ольгу:

— А вы давно знаете Лыжина?

— Ну, Володю я знаю тысячу лет, мы с ним были знакомы еще до Александра. Лыжин даже когда-то ухаживал за мной.

— Да-а? Это интересно...

— Ах, это все так незапамятно давно было! И не верится, что все это действительно с нами происходило. Может быть, потому, что все это было еще очень по-детски — красиво, чисто. И у Володи тогда было просто юношеское увлечение. К несчастью, серьезное чувство к нему пришло много позднее...

— Почему — к несчастью?

Ольга встрепенулась, будто поймала себя на том, что, расчувствовавшись, проговорила, сказала то, о чем сейчас не следовало говорить, или, во всяком случае, не с милицейским же инспектором, а может быть, вообще не надо было ворошить бессмысленно и бесполезно почти заросший струп старых горестей. Но она сказала — «к несчастью», и надо было как-то закрыть эту тему.

— Да очень как-то там неудачно получилось у него. Но, поверьте, это к делу не имеет ни малейшего отношения, — сказала Ольга.

— Ольга Ильинична, поймите меня правильно — я не «копаю материал» на Лыжина. Дело в том, что транквилизатор, над которым работали Лыжин и ваш муж, или какой-то очень похожий препарат, попал в руки опасных преступников. И мне надо обязательно добраться до истины...

— Ерунда какая! — сердито взмахнула руками Ольга. — Они оба не могут иметь никакого отношения к преступникам! Я усмехнулся:

— Между прочим, я и не думаю, что профессор Панафидин вошел в банду аферистов. Но мне нужно найти ту щель, через которую преступники подсосались к научным изысканиям Лыжина или вашего мужа. И мне думается, что она где-то в прошлом. А на искренность вашу я рассчитываю в твердой уверенности, что ученому не может быть безразлична судьба его открытия.

— Так никакого открытия еще и нет! — воскликнула Ольга. — И препарата нет! Это мистификация, артефакт! И уж совсем никакого отношения не имеет к этому наше прошлое, наша личная жизнь!

— Артефактом нельзя отравить человека.

— Но вы перепутали — они ищут не отраву, не яд, а лекарство!

— Все зависит от дозы, — я пожал плечами. — И дозой истины в моих поисках являются сведения о Лыжине. Поэтому я вас расспрашиваю так настойчиво и подробно.

— Пожалуйста, я могу вам рассказать то, что сама знаю. И вы убедитесь, что никакого отношения к вашим делам это не имеет.

— Я вам заранее признателен. Вы сказали — «к несчастью». Почему?

— Потому что, может быть, это и есть тот рубеж, с которо-

го начались все несчастья Лыжина. Может быть, это все и исковеркало его жизнь. Лет десять-двенадцать назад он познакомился с девушкой. Я видела ее несколько раз — очень красивая тоненькая брюнетка. По-моему, она была археолог или этнограф и занималась сарматской культурой. Мне запомнилось, что она рассказывала про амазонок какие-то забавные истории, больше похожие на сказки. Да и сама она была какая-то странная. Тогда, в те дни, мне не казалось, что Лыжин так безнадежно, неотвратно любит ее. Может быть, потому, что он всегда подшучивал над ней. Она жила у Лыжина, и мы иногда заходили к ним с Александром. У них всегда был чудовищный беспорядок в комнате: валялись повсюду какие-то черепки, гипсовые слепки, каменные уроды, лыжинские рукописи на всех стульях. Правда, у них всегда было очень весело — ведь это сейчас Лыжин такой стал, а в молодости он был исключительно веселый и остроумный парень, его все девочки в институте любили. Какие-то люди там постоянно толклись, кто-то ночевал прямо на полу, магнитофон орал, каждый раз Лыжин притаскивал какого-то непризнанного поэта или домодельного художника. Александр не очень любил к ним ходить, а мне там нравилось... Мы тогда все очень молодые были, — добавила Ольга, будто оправдываясь.

Она вынула из пачки сигарету, и я увидел, что пальцы у нее подрагивают.

— А что произошло потом? — спросил я.

— Она замолчала, — коротко и как-то напряженно сказала Ольга.

— В каком смысле?

— Просто замолчала. Навсегда.

— Она заболела?

— Видимо, болезнь в ней жила давно. Но в тот вечер они пошли на концерт Рудольфа Керера, вернулись в прекрасном настроении, а ночью Володя проснулся от ее плача. Она сидела на постели и тихо плакала. Лыжин пытался ее расспросить, утешить, успокоить, но она молчала. Она в ужасном страхе прижималась к нему, плакала и молчала. Немота пала в эту ночь на нее. И навсегда.

Мне очень не хотелось сейчас задавать Ольге вопросов, и она, наверное, почувствовала это, потому что сама сказала:

— Лыжин показывал ее крупнейшим светилам психиатрии, и все были бессильны: маниакально-депрессивный психоз, мания преследования. У нее и ухудшения не наступало, и не улучшалось никак. И тогда Володю охватила какая-то неистовая идея, что он сам ее вылечит. Он где-то вычитал или слышал, что Парацельс будто бы излечил от безумия женщину, которую больше всех любил на свете. И мы даже не разубеждали его в этой сказке, потому что так для него еще оставалась какая-то надежда. Он работал как сумасшедший, у Александра и то не хватало сил, и они в те годы сделали целый ряд блестящих работ. А потом Володя, видимо, сам разуверился в своих возможностях, да и нервы сдали, вот он и отмочил такой номер...

Я подумал о прихотях женской логики, которая вовсе не так бессистемна, как принято об этом говорить. Ведь пока Ольга говорила о несчастье Лыжина, она была последовательна, ис-

кренна и открыто ранима. Но когда дошло до эпизода, в котором всей жизнью, репутацией, честью был заинтересован ее муж, она сразу сделала полный поворот, и я был глубоко уверен, что это не только и не столько шкурная потребность оградить интересы своего дома, сколько неутоленная и непрощенная досада женщины, которую когда-то любил мужчина, или, может быть, она ему только нравилась, а потом вдруг разлюбил или разонравилась — для того, чтобы полюбить другую такой палящей, яростной, страдающей любовью, которая во времени бесконечна — сейчас, пятьсот лет назад и на века вперед.

Мы долго молчали, потом я спросил:

— Мне показалось, будто вы сказали, что Лыжина знали задолго до Александра Николаевича?

— Да, Лыжин занимался на кафедре у отца и часто бывал у нас. Однажды он привел Александра, и в разговоре выяснилось, что мой старик хорошо знал Панафидина-отца.

— А откуда были знакомы ваши родители?

— Так они когда-то вместе преподавали в университете — Сашин отец был генетиком, а мой биохимиком, — Ольга вздохнула и огорченно сказала: — Старику Панафидину пришлось несладко — его после знаменитой сессии ВАСХНИЛ признали не то вейсманистом, не то морганистом. Его очень критиковали, и он должен был оставить кафедру.

— А чем он занимался после этого?

— Честное слово, я даже не знаю. Во всяком случае, они уехали тогда из Москвы, потому что Александр перевелся сюда на третий курс из Карагандинского мединститута. Они с Лыжиным быстро подружились, и однажды Володя привел его к нам в гости.

— А как ваш отец относится к Лыжину?

— Ну, мне на этот вопрос трудно ответить. Я думаю, что у отца к Лыжину очень сложное чувство. Володя ведь со второго курса работал у него на кафедре, и папа очень ценил его, называл самым перспективным своим учеником. И в то же время считал, что у Лыжина «не все дома», — она покрутила пальцем у виска.

— В каком смысле «не все дома»? — сердито уточнил я.

Ольга осторожно покосилась на меня, развела своими блестящими струящимися рукавичками:

— Понимаете, он ведь всегда был какой-то уж очень необузданный фантазер. Творческому человеку, конечно, необходима фантазия, но ведь всему должны быть пределы и границы...

— Фантазии тоже?

— Безусловно! Особенно для ученых — не ограниченная реальными условиями фантазия превращает исследователя в праздного мечтателя. А у Лыжина все было без удержу: понравилась какая-то идея, так — возможно, невозможно, реально, нереально — ему на все наплевать, носится с этой идеей, как дурень с писаной торбой, пока не упрется в стену. Тогда принимается за что-то другое. Возможно, старик из него постепенно бы вышиб эту дурь, если бы он остался у него на кафедре.

— А что, ваш отец не захотел оставить на кафедре Лыжина?

— Нет, он хотел, но там сложилась трудная ситуация. К окончанию института у Лыжина с Александром уже были кое-какие

совместные идеи, которые они должны были проверить экспериментом. Но Александр жил в общежитии, и постоянной прописки у него не было, так что для продолжения научной работы ему надо было попасть на кафедру сотрудником...

— Но место было одно и предназначалось Лыжину? — спросил я.

— Да, — спокойно кивнула Ольга. — Володя сам от него отказался, потому что иначе Александру пришлось бы уехать куда-нибудь по распределению простым врачом, а Лыжин был заинтересован в сотрудничестве с ним. Кроме того, отец считал, что Александр с его талантом и целеустремленностью сможет многого добиться. И Лыжин попросил отца взять на кафедру Александра.

— Так, это я понял, — сказал я, глядя в красивые светло-серые глаза Ольги и раздумывая о том, что люди склонны приписывать мерзавцам черноту духа от пепла истлевшего чувства вины и мрачное самоутверждение от зарубцевавшихся угрызений совести. Какая ерунда! Подлость ясноглаза, безоблачна душой, краснощeka от задорных людоедских планов.

— Скажите, а куда пошел работать Лыжин?

— Он отработал три года в какой-то фармакологической лаборатории, а потом Александр перетащил его к себе в исследовательский Центр.

— К этому времени ваш супруг уже защитил, наверное, кандидатскую?

— Да, конечно! И прошел по конкурсу в Центр старшим научным сотрудником.

— А вы не знаете, у Лыжина были за это время какие-то успехи?

— По-моему, нет. Он, в общем-то, бестолково распорядился этими годами. Но когда он пришел к Александру, у них начало выходить много работ и публикаций.

Я неожиданно спросил:

— Простите, а как ваш отец относился тогда к Александру Панафидину?

Ольга засмеялась:

— Станный вопрос! Отнесись он к Александру плохо, зачем бы он оставил его у себя на кафедре? Он всегда очень уважал его.

Стараясь придать бестактному вопросу характер шутки, я спросил:

— Ну, а может быть, помимо уважения, он видел в нем еще и будущего зятя?

— Ха! Это вы не знаете моего батюшку! Он принципиален до глупости, и на все соображения такого рода ему чихать. А кроме того: я вышла ведь за Александра много позже. И к счастью, никогда об этом не жалела.

— И к счастью, никогда об этом не жалели, — повторил я, потому что в словах Ольги мне послышалась настойчивая потребность доказать себе самой безусловную правильность однажды сделанного выбора, истерический накал ненужной откровенности в публичной демонстрации своего собственного, личного, индивидуального, только ей принадлежащего семейного счастья.

Я улыбнулся и сказал: — Значит, остается прожить далее в любви и согласии сто лет и умереть в один день...

— Да, я мечтала бы о такой участи, — вполне искренне сказала Ольга. — Но в наше время никто не живет по сто лет. Особенно с такой нервозностью на работе, как у Александра. Они из-за этого метапропизола все прямо с ума посходили.

Я безотчетно отметил про себя, что Ольга уверенно предполагает прожить дольше мужа. Напрасно: никто не знает часа своего — ни с сильной нервозностью, ни в безмятежном домашнем хозяйствовании.

— Ольга Ильинична, вы не можете мне объяснить — я ведь не специалист — почему вокруг именно этого препарата столько волнений, столько страстей пылают?

— Ничего удивительного — это ведь будет выдающимся научным открытием. Такие события высекают на золотых скрижалях.

— Не может быть! — притворно изумился я.

— Еще как может! Вы слышали о комиссии научного прогнозирования ЮНЕСКО?

— Нет, не слышал.

— Эта комиссия составила план-прогноз крупнейших открытий человечества в течение предстоящих ста лет. Вот они относят создание эффективных химических препаратов для лечения психических болезней на 2010—2020 годы. Получив метапропизол, Александр обгонит эпоху на 30—40 лет. Это Государственная или Нобелевская премия, это свой научно-исследовательский институт, это безграничные научные перспективы.

Разумом, рассуждением я понимал, что нелепо, просто бессмысленно возмущаться Ольгой, сердиться на нее, она — продукт определенного нравственного воспитания. Но подавить в душе острое желание омрачить безоблачно-радужный небосклон ее видения жизни я не мог.

— Ольга Ильинична, а не может так статься, что кто-нибудь другой, не ваш муж, получит метапропизол?

— Насколько я знаю от него, над этой же проблемой работают японцы и швейцарцы. Там есть очень мощные концерны — «Торей» и «СИБА»...

— Я не имею в виду иностранные фармакологические концерны. Что бы вы сказали, узнав, что препарат синтезирован у нас?

Ольга недоверчиво хмыкнула:

— Перестаньте! Этого не может быть!

— Как вы говорите — «еще как может». В жизни всякое бывает, — я встал, прошелся по комнате, остановился у окна, выглянул на улицу. У подъезда притормаживал ярко-алый «Жигуленок». Отворилась дверь, из машины вылез Панафидин. Отсюда, с пятого этажа, автомобиль с раскрытыми дверцами казался мне похожим на огромную железную бабочку, расправляющую крылья, готовую подпрыгнуть и лететь, не ощущая своего веса, к синему горизонту.

Панафидин снял со стекла «дворники», бросил их в кабину, достал с сиденья желтый портфель, захлопнул двери, сначала левую, потом правую, и бабочка, сложив свои крылья, стала тяжелой, смиренной, обтекаемой.



А хозяин усмиренной краснолаковой летуны запер замок, четким прямым шагом пересек тротуар и направился в подъезд. Это шел очень уверенный в себе человек, уверенный в делах

своих, знающий наверняка, что он уже почти-почти обогнал эпоху на тридцать-сорок лет, завтрашний нобелевский лауреат, научный руководитель института с безграничными перспективами!

Я повернулся к Ольге, которая по-прежнему молча смотрела на меня с недоверием, похожим на недоумение — шучу ли я с ней так глупо, или... Или?

— Да-да, — кивнул я. — Похоже, что это факт. — И вспомнил, с каким вкусом, с каким ощущением собственной посвященности, с каким апломбом повторяла она слова, несомненно, слышанные от мужа: «Этого не может быть — это артефакт!»

— Александр знает об этом? — растерянно спросила Ольга.

— Думаю, что не знает. Но мы сейчас у него самого спросим, — сказал я, и в тот же момент в прихожей раздался звонок. Ольга бросилась к двери, я неспешно двинулся за ней, щелкнул замок, и вошел Панафидин — спортивно подтянутый, весело-злой, точно знающий, чего стоит фора в тридцать-сорок лет перед всем маленьким человечеством, перед всей эпохой.

— А-а, у нас в гостях неутомимый следопыт? — благодушно протянул он. — Рад видеть, давайте вместе ужинать.

— Спасибо, не могу. Я скоро уйду. А заглянул я к вам, чтобы узнать ваше мнение о Лыжине.

— О Лыжине? — медленно переспросил Панафидин, и глаза его льдисто полыхнули за стеклами очков. «О Лыжине?» — сказал он так, будто мучительно припоминал эту фамилию — вроде бы и знакомое имя, ведь наверняка доводилось слышать, а что-то сейчас никак не удается припомнить.

Но Панафидин переигрывал — и менее настороженный человек, чем я, увидел бы, что ему не надо вспоминать, кто такой Лыжин, он очень хорошо знает, кто такой Лыжин, он помнит о нем всегда, и всегда, во все времена, думает о нем.

Ольга, ничего не понимая, переводила взгляд с меня на мужа, четко фиксируя женской интуицией неестественность ситуации, мгновенно возникшие токи нервного напряжения и взаимной неприязни между нами, и хотя и заняла, не раздумывая, почти рефлекторно, сторону мужа, все равно не могла объяснить причину этого недоброжелательства. Она ведь прекрасно помнила, что Александр ей рассказывал про сыщика, интересовавшегося метапропизолом, которым занимаются он и Лыжин. Но, судя по их репликам, ей показалось, что такого разговора не было. что вообще имя Лыжина не упоминалось в их разговоре и впервые всплыло только сейчас. И почувствовала, что наговорила много лишнего. На всякий случай она сказала:

— Я вам сейчас подам в гостиную кофе, — и ушла на кухню, оставив нас вдвоем.

— Я хотел с вами поговорить о Владимире Константиновиче Лыжине, — сказал я. — Был у вас такой сотрудник и соавтор нескольких изобретений. Помните?

— Да, помню, — помолчал и добавил: — Конечно, помню.

Он закуривал, удобно устраивался в кресле, потом снова вставал за пепельницей и вновь устраивался в кресле, и я видел, что все эти маневры имеют целью выиграть хоть несколько секунд, чтобы тщательно продумать ответ — он не ожидал, что я так быстро выйду на Лыжина.



— Вы не знаете, чем занимается сейчас Лыжин? — спросил я.

— Мне кажется, он работает руководителем биохимической лаборатории в какой-то неврологической больнице.

— Мне тоже так кажется, но только он не руководитель, а старший лаборант.

— А если вы знаете, то зачем вы об этом спрашиваете меня? — раздраженно сказал Панафидин.

— Я знаю не все, и вы, наверное, не все знаете. Мы сложим наши знания и совместно придем к истине, — усмехнулся я.

— Истина не апельсин. Из двух полузнаний целого не получишь.

— Ну мы, во всяком случае, попробуем. Меня интересует, чем занимается Лыжин в своей лаборатории.

— Деталей я не знаю, но, по-моему, он тоже интересуется получением и применением транквилизаторов, — сказал Панафидин, изящным небрежным взмахом руки подчеркивая, что ничего в этом интересного нет.

— А вы не знаете, каким именно транквилизатором интересуется Лыжин?

Панафидин засмеялся:

— Видите ли, существует понятие научной этики. Все, что любой ученый считает необходимым сообщить своим коллегам, он может доложить на ученых встречах или опубликовать в периодике. Интересоваться сверх этого не принято. Это скорее компетенция сыщиков, нежели ученых коллег.

— Понял, — сказал я. — Тогда у меня к вам вопрос из моей компетенции.

— Пожалуйста.

— Вы безоговорочно уверены, что метапропизол еще не получен?

— Абсолютно.

— Тогда я хочу объединить наши интересы на почве единственной общей черты наших профессий — вашей и моей.

— А именно? Мне как-то не приходило никогда в голову, что в наших профессиях может быть что-то общее.

— Может, может, — заверил я. — Помимо служебных обязанностей, учеными и сыщиками руководит любопытство. С моей точки зрения — немаловажный двигатель в постижении истины.

Не скрывая усмешки, Панафидин тяжело, высокомерно бросил:

— Вот только истины мы с вами разные ищем.

— Истина одна, — смиренно заметил я. — Истина — это узнавание мира, поэтому она одна и многолика.

— Вот именно, — хмыкнул Панафидин, — решение рядов Галуа и поимка карманника в метро — две стороны истины. Неплохо?

Я не хотел ввязываться в спор, мне никак нельзя было с ним поссориться сейчас, и я сказал примирительно:

— Неравнозначны, конечно, эти стороны истины. Но если бы я поймал карманника, укравшего у профессора сверток с рукописью о рядах Галуа, то это бы несколько смягчило контраст. Правда, мы сильно уклонились от нашей темы, а говорили мы о любопытстве.

— Вы хотите оценить мое профессиональное любопытство ученого? — спросил Панафидин, поигрывая серебряной кофейной ложечкой.

Вошла Ольга, она несла на подносе надрезанный торт. Очень красивый был торт — огромный каравай, обвязанный глазурированным рушником, а сверху вплавлена в шоколад марципановая солонка с сахарным песком.

— Попробуйте, — сказала Ольга. — Вчера гости были, принесли новый торт, «Хлеб-соль» называется.

Я поблагодарил, но торт есть не стал — я что-то разлюбил сладкое в последнее время.

— А у нас в доме все с удовольствием едят сладости, — сказала Ольга. — Мы сладости, как дети, любим.

Панафидин недовольно покосился на нее, сказал сухо, почти сквозь зубы:

— Я тебе уже объяснял, что не «сладости», а «сласти». Сласти! Сладости у восточных красавиц, а это называется сла-сти. Угощайтесь, — кивнул он мне.

Себе он отрезал большой кусок торта, переложил его на красивую квадратную тарелку с давленным орнаментом, и с аппетитом стал есть его, а на лице и следа не осталось от только что промелькнувшей внезапно, как снайперский выстрел, вспышки респектабельного, опрятно замаскированного злобного неуважения к жене.

— Ну, сласти так сласти! Подумаешь, какая разница, вкус не меняется, — сказала робко Ольга. — И что ты, Сашенька, из-за всяких пустяков так нервничаешь?

— Я абсолютно спокоен, моя дорогая. А ты упускаешь прекрасную возможность не мешать нам говорить по делу, которое тебе совершенно неинтересно.

— Но вы говорили о Володе Лыжине... — просительно промямлила Ольга.

— Этот разговор мы уже исчерпали. А разъяснить инспектору химизм действия транквилизаторов ты вряд ли сумеешь даже с моей помощью.

— Хорошо, хорошо, Сашенька, не волнуйся, я уже уйду.

— Вот и прекрасно. Так о чем вы хотели меня спросить? — повернулся он ко мне.

— Я хотел вас спросить: что, если бы к вам пришел человек и сказал — я знаю, где лежит метапропизол, давайте вместе взглянем, вы бы пошли?

Панафидин проглотил кусок торта, прихлебнул кофе, облизнул кончик ложки и неспешно ответил:

— Конечно, не пошел бы.

— Почему?

— Потому что это предложение — нелепая мистификация, дурацкий розыгрыш, рассчитанный на легковерных глупцов. И невежд, надеющихся найти на улице полный кошелек. Знаете, есть такая категория людей, которые с детства мечтают о толстом кошельке на тротуаре?

— Знаю. Ну, а научное любопытство?

— Это не научное любопытство, а обывательское ротозейство. Умный человек не пойдет смотреть на то, чего нет и быть не может. И я смотреть не стану.

Он разговаривал со мной вроде бы совершенно спокойно, слизывал крем с ложки, прихлебывал мелкими глотками кофе, остроумничал, но я видел его глаза — он бешено считал что-то, он отвечал мне механически, по заранее сформулированному отрицательному стереотипу, а сам в это время изо всех сил старался сообразить: что это — милицейская уловка, ловушка? И отбивался, не глядя, размахивая во все стороны руками, как боксер, пропустивший тяжелый удар, не нокаут, конечно, но утрачена ясность, и «вата» в ногах, и лицо противника плывет, но надо продержаться до спасительного гонга, там будет передышка — можно будет еще восстановиться для продолжения боя, который длится не три любительских раунда, а по жестким правилам профессионалов — до победы.

— Смотреть не стану, — медленно повторил я и ужасно обрадовался сделанной им подставке: — Если вы помните, эти же слова сказал ученый монах Томас Люпиан, когда Галилей, исчерпав все аргументы, попросил его взглянуть в телескоп.

Панафидин скривил угол рта:

— Прекрасно образованны стали современные сыщики... Но ничего не напишешь, видимо, такой уж я дубина-обскурант.

Не обскурант ты, дорогой профессор кислых и щелочных щей, а зарвавшийся хам. Нахалюга. И лицемер. Все в этом доме проникнуто лицемерием. И торт ваш «Хлеб-соль» — вранье, потому что хлеб — бисквит, и соль — сахар, а гостеприимство — ложь.

Стараясь не сорваться, я сказал тихо:

— Хорошо. Тогда я вам официально заявляю, что располагаю сведениями о том, что в машине одного почтенного гражданина в тайнике хранится метапроптизол.

Панафидин не выдержал, он весь посунулся ко мне, и его напряженная поза и острота движений диссонировали с невозмутимой маской лица и спокойным, чуть даже перетянутым для плавности голосом.

— В чьей же машине, позвольте полюбопытствовать?

— В вашей.

Минуту он помолчал, внимательно рассматривая меня, и я физически, всей кожей лица ощущал его взгляд, такой он был плотный, тяжелый, царапающий нескрываемым презрением, злостью и огромным интересом.

— Вы с ума сошли? — спросил он спокойно и серьезно.

— Нет. Кажется, нет.

— А мне кажется, что сошли. Иначе бы вам не достало духа нести такую неслыханную дичь.

И тут я решил сыграть ва-банк, я поставил все, никто, наверное, никогда не делал более отчаянной ставки, потому что если я ошибусь, то Панафидин меня с лица земли сотрет.

— Возможно, что сказанное мною — дичь. Тогда я извинюсь перед вами за причиненные вам хлопоты и беспокойство, которое доставил своим визитом. Но вдруг, я подчеркиваю — вдруг! — в жизни ведь всякое случается, окажется, что я прав. Никто никогда вам не поверит, что вы не знали о тайнике. И самое главное — вы ведь больше и не увидите метапроптизол. Я его обязательно изыму, коль скоро вы говорите, что не имеете к нему отношения.

— Знаете что — вы мне надоели! — закричал Панафидин, и больше он себя и не старался сдерживать. — Идемте в машину, в гараж, к черту на кулички, куда хотите, только отстаньте от меня со своим копеечным морализированием и безграмотными научными рассуждениями...

Не помню, как мы вылетели из квартиры, лифта на лестничной клетке не оказалось, и Панафидин побежал вниз пешком, и бежал он легко, быстро, сильными прыжками, широко отталкиваясь, перепрыгивая сразу через две-три ступеньки. И я понял, что теннисные ракетки в кабинете лежали у него не для декораума.

— Где? В кабине? — он отпер замок и распахнул дверь. — В моторе? В багажнике? У черта в брюхе?!

Не обращая на него внимания, я встал на колени позади машины и засунул пальцы в узкую щель между бампером и кузовом, нижняя кромка бампера почти вплотную подходила к металлу, и оставался там лишь тоненький просвет для стока воды. Я вел рукой вдоль паза, и в башке вихрем пронеслись мысли о том, что если подметное письмо было сознательной провокацией и ничего я здесь не найду, то расследованию моему конец. Никто не простит мне такого скандального прогара.

В углу, у закругления бампера, липкой лентой был приклеен крошечный пакетик. Я осторожно вытащил его — полиэтиленовый мешочек плотно облегал маленькую пробирочку-ампулку, в которой неслышно пересыпался белый порошок, похожий на питьевую соду.

Я взглянул на Панафидина — лицо его было бледно, и растеклось на нем тягостное выражение тоски и недоумения.

— Вам этот пакетик не знаком? — спросил я.

— Нет, я никогда не видел его, — покачал он медленно головой, и я никак не мог сообразить, глядя на эту маску тоски, страдания и недоумения, — актерствует он или действительно впал в шок, оттого что у меня в руках ампула с препаратом, который при анализе может оказаться метапроптитолом.

Чужим! Не его! Впервые увиденным!..

## ГЛАВА 9

Понедельник — день тяжелый. Я в этом просто уверен, и суеверия здесь ни при чем. Моя работа — производство с непрерывным циклом, вроде доменного цеха, и кропотливый, очень обыденный процесс выплавления крупки истины из руды фактов, обстоятельств, людских отношений нельзя приостановить на выходные дни. Да и преступники не склонны согласовывать со мной свою деятельность — им не скажешь, что я за неделю устал, хочу выспаться и чтобы они хоть на выходные угомонились, оставили честных людей в покое, да и меня не беспокоили. У преступников, как и у меня, — ненормированный рабочий день, и, только передав их в руки правосудия и органов перевоспитания, я вновь ввожу их в местах заключения в нормальное русло трудовых будней и выходных.

А у меня ничего не меняется — для того, чтобы справедливость была всегда, милиция работает круглосуточно, во все

дни года — будни, выходные и праздники. Справедливость потребна людям всегда, а жизнь не останавливается для отдыха в конце недели, и поэтому все дела с субботы и воскресенья автоматически перекатываются на понедельник. И день этот всегда получается тяжелым.

Начался понедельник у меня рано. Поскольку накануне я звонил несколько раз домой Лыжину и не заставал его, то я решил перехватить его до начала работы. Около восьми часов я звонил уже в дверь, но отворила мне все та же плосколицая бабка.

— Нету его, — сказала она, и мне показалось, что она обрадовалась, увидев на моем лице досаду и разочарование. — Минут пятнадцать, как уехал он.

— Вы говорили ему, что я приезжал и звонил?

— А как же! Не знает он про тебя. Сказал, нету у меня такого знакомого.

— Когда же его можно застать?

— Кто его знает! Носит нечистая — приходит в ночь, за полночь, уходит — чуть свет, это сегодня он чего-то запозднил.

Я вырвал из записной книжки страничку и написал: «Уважаемый тов. Лыжин! Прошу вас обязательно позвонить мне по телефону 24-99-84. Капитан милиции С. Тихонов». Слово «обязательно» я дважды подчеркнул. Записку отдал бабке, которая тут же, при мне, развернула ее и, подслеповато шурясь, стала читать ее по слогам.

— Ка-пи-тан ми-ли-ции Сэ Ти-хо-нов, — повторила она нараспев, поцокала языком, качнула осуждающе головой. — Достукался, голубчик. Теперь затаскают.

— Никто его никуда не таскает, он нужен как свидетель, — сказал я сердито.

— Эт-та понятно, — понимающе закивала старуха. — Сначала — в свидетели, а опосля — носи ему сухари...

Бабку мне было не переговорить, и я, внушительно попросив ее не забыть передать записку, поехал на Петровку.

Вошел в кабинет, скинул плащ, и сразу же зазвонил телефон.

— Здравствуйте, Тихонов. Это Халецкий.

— Приветствую вас, Ной Маркович. Чем порадуете?

— В ампуле — метапроптизол. Химики подтвердили это категорически.

— Н-да, интересные дела. А вы там не могли вгорячах напутать? Это наверняка метапроптизол?

Халецкий сердито ответил:

— Если бы я решал такие вопросы вгорячах, я бы уже давно на углу галоши клеил.

— Простите, Ной Маркович, я от волнения, наверное, не так выразился.

— А зачем вы так сильно волнуетесь? — деловито осведомился Халецкий. — Первейшая добродетель сыщика — невозмутимость и постоянное присутствие духа.

— Тут есть отчего разволноваться. Ведь если это метапроптизол, надо полностью поворачивать дело. Резко меняется направление самого розыска!

Я слышал, как Халецкий на другом конце провода хмыкнул, я видел его легкую ироническую ухмылку, нигилистическое поблескивание золотой дужки очков.

— Вам можно дать совет? — спросил он.

— Профессиональный или житейский? — осторожно осведомился я.

— Житейский.

— Валяйте.

— Не принимайте никогда никаких решений окончательно. Оставляйте по возможности за собой небольшой запас времени, свободу маневра, ресурс денег и резерв для извинений. Это спасает наше самолюбие от болезненных уколов, а истину от попраiania.

— А при чем здесь истина? — сердито спросил я.

Халецкий засмеялся.

— Вы же знаете, что иногда люди, например ученые, — он сделал паузу, и выглядела эта пауза как ударение на печатной строке, и продолжил спокойно: — И неученые, чтобы спасти свое самолюбие от уколов, подминают края истины под свой размер, дабы не жало, не давило, не стесняло движений, или просто чтобы не морщило выходное платье нашего тщеславия.

— Красиво. Но ко мне отношения не имеет, — сказал я мрачно. — И мне оставлять резерв для извинений перед Панафидиным не нужно. Он почтенный человек, профессор, и тэдэ и тэпэ, но перед законом все равны, и пусть он отчитается в некоторых странностях создавшегося положения.

— Не увлекайтесь, Тихонов. И не напирайте на меня с такой страстью — я ведь вам не начальство, не прокурорский надзор и не ваш папа. Отчитываться передо мной вы не должны, а выслушать товарищеский совет можете.

— Так что же вы советуете, Ной Маркович? — закричал я уже с отчаянием.

— Думать. Не спешить. И снова думать. Вся эта история — удивительная, в ней есть какие-то очень давние и глубокие подводные течения, — это мне подсказывает мое старое сердце. И я вам советую не спешить с поступками и заявлениями, которые вы не сможете взять обратно. Думайте, я вам говорю.

— Не спешить? Прекрасно. А как к вашему совету, интересно мне знать, отнесся бы Поздняков? Он ведь наверняка просил бы меня поторопиться...

— Не будьте мальчишкой! — сердито прикрикнул Халецкий. — Вы не сестра милосердия! Вам доверена высокая миссия врачевания нравственных ран человечества, и будьте любезны относиться с пониманием и уважением к своей должности! И оружие ваше — не поспешность, но мудрость. А мудрому надо ходить среди людей ощупью и не глазеть на мир, а вглядываться в него сквозь линзы разума и совести...

— Ной Маркович, но мне требуется силой разума моего отыскать истину в отношениях людей, мир которых мне непонятен и дело которых я не разумею. Так, может быть, для меня — по-человечески — истина состоит в том, чтобы просить начальство освободить меня от этого расследования?

Халецкий помолчал, я слышал, как он глухо покашливает, возвращаясь от микрофона, потом вздохнул и грустно сказал:

— Такая истина не требует ни ума, ни любви, ни правды, ни смелости...

— Но я не могу ничего придумать. Сначала я не поверил письму. Потом, когда в тайнике я нашел ампулу с белым препаратом, я не мог поверить, что это метапроптитол. Теперь я не могу понять, действительно Панафидин ничего не знал об ампуле, или он такой прекрасный актер. Но есть еще одно обстоятельство, которое не дает мне покоя...

— Какое обстоятельство?

— Подумайте, Ной Маркович, о масштабе причин, из-за которых Панафидин, если он только действительно автор метапроптитола, может отказаться от него? Подумайте, как должны быть они громадны, необъятны, они всю его жизнь должны перечеркнуть!

— Я уже размышлял об этом, и мыслишки сии лишний раз убеждают меня, что говорить о смене направления поиска пока несвоевременно. Вы помните, была такая мировая чемпионка по конькам Мария Исакова?

— Помню. А что?

— Вот однажды, много лет назад, я видел, как во время соревнований она упала на повороте. Приличная скорость, инерция, закругление — сильно очень закрутило ее. Наконец она затормозилась, вскочила и... побежала в другую сторону.

— Я в другую сторону не побегу, это я вам точно говорю.

— А я этого и не утверждаю. Я, как это вы любите говорить, мобилизую ваше внимание.

— Спасибо. Теперь я займусь текущей работой с отоброшенным вниманием. Кстати, я собираюсь к вам зайти, занесу письмо подметное — хочу, чтобы вы над ним маленько помозговали: может быть, удастся что-то выжать из него.

— К вашим услугам. До встречи.

Я положил трубку, подошел к сейфу, сорвал пломбу с печати, отпер замок, достал папку, бросил на стол конверт с замечательным адресом «Главному генералу». Да, я помню еще, что позвонил после этого Тамаре и попросил узнать у Шарапова, когда он сможет принять меня.

— Он отъехал в город часа на два, — сказала Тамара.

Ну отъехал так отъехал. Отъехал, отошел, отлетел, отплыл — слова какие-то дикие. Хорошо, что мой начальник не адмирал — «отплыл в порт часа на два». Размышляя об этой ерунде, я открыл конверт, чтобы еще раз прочитать письмо, перед тем как отнести его Халецкому. Но читать было нечего.

Письма не было.

Я этого даже не понял сразу, и все растягивал конверт пошире, и продолжал тупо смотреть в него, будто это был не обычный почтовый маленький конверт, а полный книжный шкаф, в котором могла затеряться такая безделица, как листок паршивой бумаги с двумя строчками машинописного текста.

Вместо письма лежала в конверте какая-то серая грязь, и само по себе было так непостижимо, дико, невероятно, что у меня мог пропасть из запертого и опечатанного сейфа бесценный

следственный документ — это просто никак не могло уложиться в моем сознании, и какие-то перепуганные, бестолковые мысли, одна другой нелепее, носились в мозгу. Со мной случилась вещь непростительная для профессионала — от неожиданности, от невозможности даже представить себе, как могло такое случиться, я потерял самообладание.

И мгновенно был наказан за это вторично.

До сих пор не могу себе простить этого, до сих пор с мучительным стыдом вспоминаю, как, попав в острую ситуацию, я сразу же забыл так мучительно накопленный за долгие годы опыт, всю хитрую сыщицкую науку, вбитую в меня старшими товарищами, главный закон, усвоенный в борьбе с преступниками, которые нам ошибаться дважды еще не представили возможности. А ведь как прост этот закон: прежде чем что-то делать, посмотри и подумай.

Но в тот момент мигом слетели с меня все сыщицкие доспехи и выскочил из меня на волю голубой от испуга, дрожащий от удивления обыватель: я засунул пальцы в конверт и стал вытаскивать лежащую там грязь.

И только поднеся ее почти к носу, я понял, что это не грязь. Это был буро-серый пепел. Тончайшая, сразу изломавшаяся в руке пластинка бумажного пепла.

Все, что осталось от письма. Темные хлопья с неприятным запахом не то йода, не то серы и легкий-легкий придых гари.

И в своем ротозейском испуге я уничтожил остатки следов — размяв пепел пальцами, отрезал себе пути к восстановлению испепелившейся бумажки, потому что у меня в руках это все превратилось в труху.

На всю жизнь с удивительной остротой я запомнил первое свое прикосновение к тайне. Это было двадцать пять лет назад, и тайна была книжная, маленькая, и не была она целью и содержанием прочитанной сказки, но она так поразила меня, что из-за нее я, по существу, прохлопал всю остальную книгу. соседской девочке на день рождения подарили «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Мы еще не разумели грамоты, и читала нам книжку мать этой девочки, и когда дело дошло до того, что Буратино проткнул носом нарисованный очаг и за ним оказалась запертая запыленная дверь, я не мог больше слушать — я не давал читать, надоедая вопросами: «Зачем за нарисованным очагом дверь? Кто сделал дверь? А почему нарисовали очаг? Кто это сделал? Куда вела дверь? Почему папа Карло не нашел ее раньше?» Эта дверь за декорацией просто свела меня с ума. Женщина говорила мне: «Подожди немного, дальше в книжке об этом все написано, прочитаем до конца, и ты узнаешь».

Но я не мог дожидаться. Этот вопрос о двери жег мой глупый детский мозг, я не мог слушать дальше, следить за развитием событий, которые должны были открыть нам запертую дверь, я бесновался тихо около двери, придумывая, как бы мне отворить ее самому, не дожидаясь конца приключений Буратино, Мальвины, Пьеро и пуделя Артемона. И до сих пор со сты-



дом вспоминаю, как, ерзая и волнуясь, я наконец услышал скрип золотого ключика в замке и помчался по лестнице, которая привела всю компанию в чудесный кукольный театр, и был таким концом ужасно разочарован. Что я ждал за дверью? Какое открытие потрясло бы меня? Что примирило бы меня с существованием такой острой и такой долгой тайны?

Не знаю. Ей-богу, сколько я ни вспоминаю об этой двери, я так и не могу себе ответить на эти вопросы.

С тех пор пробежало ужасно много лет, и разгадывание тайн стало моим ремеслом. Двери, за которыми они хранятся, не откроешь золотым ключиком. Потому что, как правило, двери эти незрими. Их скрывают расстойяния, темнота, безлюдье, хитрость, простодушие, алчность, злая одаренность, почтенный фасад, уважаемое имя, много-много самых разных нарисованных очагов.

И, глядя сейчас, как Халецкий хирургически точным движением расклеивает на листе бумаги обрывки — буро-серые клочья испепеленного письма, я принял твердое решение проткнуть своим длинным любопытным носом нарисованный семейный очаг Андрея Филипповича Позднякова.

— Хочу поехать сейчас к Желонкиной, — сказал я эксперту.

— Это кто? — спросил Халецкий, не отрываясь от работы.

— Жена Позднякова.

— Ах да! Почему к ней?

— Она ближе всех к Позднякову с одной стороны, к Панафидину — с другой. И, таким образом, к метапропозитолу.

Халецкий положил лист с приклеенными обрывками в сушильный шкаф, и не отвечая мне, подергал по очереди плечами, что, должно быть, означало — не убедил.

— Вот давайте рассмотрим эту историю с самого начала и поищем слабые звенья, — предложил я.

— Давайте, — охотно согласился Халецкий.

— Неизвестным препаратом отравлен милиционер Поздняков. Его жена, с которой он фактически в недоброежелательных отношениях, работает над химическими веществами той же группы, что и яд Позднякова. Но она в придачу к этому работает вместе с довольно антипатичным человеком Панафидиным...

— Вот насчет антипатичности Панафидина — это наиболее серьезный аргумент, — засмеялся Халецкий.

— Согласен, снимаю. Просто с профессором Панафидиным, который — это общеизвестно — роет землю носом для получения транквилизатора, которым отравлен Поздняков. Пока логично?

— Более-менее. Валяйте дальше.

— На этом месте возникают сразу два ответвления, которые придадут наметившейся было версии о даме-мужеубийце и тому подобным жестоким романсам характер совершенного абсурда. Потому что появляются «разгонщики», типичные чистые уголовники, которые предъявляют удостоверение Позднякова, добытое с помощью якобы несуществующего препарата, над которым трудятся Панафидин и Желонкина.

— Завлекательно, — кивнул Халецкий, включил в шкаф тягу, уселся в кресло, закинув ногу на ногу, и закурил.

— А дальше происходят события совсем непонятные: приходит письмо. Независимо от того, чей в машине был метапроптизол, Панафидина или чей-то другой, но одно ясно — письмо это прислал или враг Панафидина, или его соперник.

— Может быть, есть смысл объединить эти две воображаемые фигуры — враг и соперник?

— Да, это, пожалуй, верно: если бы письмо не обработали предварительно перекисью бензоила... Кстати, Ной Маркович, а откуда этот человек знал, что письмо не испепелится раньше, чем я его прочитаю?

Халецкий засмеялся:

— Это не вопрос. Не могу сказать точно, в каком объеме, но определенными сведениями по фотохимии он располагает. Я себе так представляю его действия: он напечатал сначала текст, потом окунул лист в перекись бензоила и сразу же положил его в конверт. Бумага окисляется перекисью бензоила только под действием света. Расчет был на то, что лучи света, проникающие в какой-то мере сквозь конверт, начнут процесс окисления, который бурно пойдет после того, как лист извлекут на свет божий...

— Но ведь я убрал потом письмо в сейф?

— Это уже не имело значения — процесс необратимый. Просто если бы вы оставили письмо на столе, то не сохранилось бы и тех крох, которые мы сейчас пытаемся реставрировать. Но мы уклонились...

— А что?

— Мне показалось, что в вашей системе не нашлось места еще для одного заметного человека...

— А именно?

— Для Лыжина.

— Я звонил ему сейчас на работу — тоже нет. Сегодня я поеду к нему домой и дождусь, хоть бы мне пришлось там сидеть до утра. Но сначала мне надо поговорить с Желонкиной.

— Бог в помощь.

Причина, побуждавшая меня встретиться еще раз с Желонкиной — ее близость и к Позднякову и Панафидину, — поставила в то же время меня перед проблемой: где эту встречу назначить. На службу к ней я ехать не хотел, чтобы лишний раз не встречаться с Панафидиным. И дома не очень нравилось — перспектива встречи с Поздняковым мало грела. Прикидывал и так и сяк и решил ехать все-таки к ней домой, потому что как там ни будет это неприятно Позднякову, но в конечном счете вся эта история заварилась из-за него, и он, свой брат милиционер, должен понять меня правильно. Ведь не ради же собственного удовольствия и развлечения я таскаюсь на край города!

Таким образом я подбадривал себя, шагая от остановки автобуса к дому, и, видимо, так сильно мне не хотелось говорить о Позднякове с его женой, когда он будет сидеть в соседней комнате, невольно прислушиваясь к бубнивым, искореженным, приглушенным голосам за стенкой, так остро я чувствовал пред-

стоящую ему муку и неизбежное поругание его мужской гордости, что судьба сжалилась надо мной, а может быть, над ним; на мой звонок дверь открыла Анна Васильевна Желонкина и сказала:

— Вы к мужу? Его нет дома.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — сказал я почти с радостью, и она с посуровевшим сразу лицом, поскольку понять причин моего веселья не могла, да и думать наверняка над этим не хотела, сдержанно ответила:

— Добрый вечер.

— А я не к Андрею Филипповичу, я к вам.

— Да-а? — удивилась она. — Мне показалось, что в тот раз мы обо всем уже поговорили.

— Ну что вы, Анна Васильевна, нам и ста часов не хватит обо всем поговорить — разговор у нас очень серьезный.

— Ста часов у меня для вас нет. У меня для себя самой такого времени нет, потому что, сколько я себя помню, мне не хватало времени. А если вы хотите говорить со мной опять о моей личной жизни, то я вам уже сказала: вас это не касается...

Я помолчал, меня сильно отвлекало, что мы разговариваем стоя, как в трамвае. А трамвайный разговор меня не устраивал.

— Меня это касается. И вас касается. Я бы мог вас вызвать для допроса в МУР, на Петровку, 38...

— Почему же не вызвали? — Она сердито откинула голову назад.

— Потому что я не хочу вас допрашивать, а хочу вас расспросить. И бравировать своим равнодушием к судьбе Позднякова вам бы не стоило...

— Ну, знаете, я у вас советов не спрашивала и спрашивать не собираюсь!

Я пожал плечами:

— Да, конечно. И это было правильно до тех пор, пока вашего мужа не отравили сильнодействующим препаратом, над которым вы сейчас работаете...

Она смотрела мне в лицо, и рот у нее то открывался, то закрывался, будто она хотела закричать во все горло, но удушье невыносимо стиснуло горло, и нет воздуха, нет вдоха, нет сил, чтобы крикнуть, позвать на помощь, рассеять кошмар. И побледнела она мгновенно и тускло, как слепой вспышкой засвечивается выдернутая из кассеты фотопленка.

— Я... я... да... да...

Я взял ее за руку и повел на кухню, усадил на белый табурет, налил в чашку воды и заставил выпить. И за двадцать секунд на моих глазах свершилось мрачное чудо — она с каждым глотком, с каждым вздохом безнадежно быстро старела, словно каждая секунда отпечаталась на ее померкшем лице целым годом. И прежде, чем она успокоилась, еще до того, как она заговорила, я понял, что совершил ошибку — мне не надо было ехать сюда, просто незачем, ибо бессовестно без жизненной необходимости ворошить чужую боль.

Я сел напротив на табурет, так и сидели мы молча, и в этот момент ее душевной обнаженности и полной беспомощности,

когда мгновенно треснула и расползлась защитная броня ее суровой неприступности, я совершенно отчетливо мог читать ее мысли, словно ужасное потрясение этой женщины наделило нас на короткий срок удивительной телепатической способностью общаться без слов, ненужного и грубого шевеления воздуха коварным неуклюжим языком.

Молча спрашивал я ее и молча отвечала она мне, и я уверен, что все понял правильно, потому что крик души нельзя не услышать и нельзя не понять, и если я чего-то не уловил, то не имело это никакого значения, поскольку крик души не внесешь в протокол и подписи кричащего в немоте не требуется.

«Ты несчастлива?»

«Я уже привыкла».

«Разве он плохой человек?»

«Он хороший человек, добрый и честный».

«Но ты не любишь его?»

«И никогда не любила».

«Из-за того, что он некрасив?»

«Из-за того, что он такой, какой он есть!»

«А какой он?»

«Скучный, пресный, дисциплинированный, я уже за эти годы и сама стала такой же, как он».

«И всегда так было?»

«Всегда. Но я вышла за него в семнадцать лет и не знала, что бывают другие и по-другому».

«Ты любишь кого-то другого?»

«Люблю, любила, до самой смерти буду любить».

«Он хороший?»

«Он очень плохой. Но в любви это не имеет значения».

«Почему же ты не ушла к нему?»

«Он этого не захотел».

«Он любит другую?»

«Нет, он любит только самого себя».

«Но ведь так жить всегда ты не можешь?»

«Могу. У меня еще есть дочь, есть интересное дело».

«Но дочь выйдет замуж, уйдет. Разве одного дела — не мало?»

«Нет, не мало. Я всегда любила учиться, только мне это было трудно. А сейчас я все время учусь, работая».

«А может быть, твоему мужу одному было бы легче?»

«Нет. Его погубит одиночество, ему отомстит свободное время».

«Как время может мстить?»

«Он хороший человек, но он убийца времени. Если выдавался свободный вечер, свободный час, он никогда не знал, как занять его, он убивал свободное время — он решал кроссворды или играл в домино».

«Но он много делал доброго и сильно уставал на работе — разве время не захочет за это простить его?»

«Время — оно такое маленькое, быстрое, как загнанная ласка, мечется оно в тесноте наших дней, а убийцы его гонятся за ним с улюлюканием и свистом. И оно отмщает им забвением, мгновенностью их жизни, скукой».

Я очнулся. Не слышал я больше ее голоса. И вообще, может быть, ничего не было, я все придумал и дорисовал сам очаг над запертой дверцей так, как мне это нравилось, или казалось правильным, но, во всяком случае, именно таким я услышал крик ее души. И спрашивать теперь ее о чем-то я не мог.

Она посмотрела на меня и негромко сказала:

— Не ищите в нашей жизни никаких демонических страстей. Все просто и грустно, — она помолчала и добавила: — Химикам известно явление автокатализа — в некоторых веществах от времени накапливаются катализаторы, которые с каждым днем ускоряют реакцию разложения, пока не происходит в конце концов взрыв.

(Окончание в следующем выпуске)

---

# ВСТРЕЧА С МЕДУЗОЙ

*Фантастический рассказ*

## 1

**С** приятной скоростью триста километров в час «Куин Элизабет» скользила по воздуху в пяти километрах над Гранд-Каньоном, когда Говард Фолкен заметил приближающуюся справа платформу телевидения. Этой встречи он ждал — для всех остальных полеты здесь сейчас были запрещены, — однако соседство другого летательного аппарата не очень его радовало. Как ни дорого внимание общественности, а простор для маневрирования еще дороже. Что ни говори, ему первому из людей доверено вести корабль длиной в полкилометра...

До сих пор испытательный полет проходил гладко. Нелепо, но факт: единственная загвоздка была связана с древним авианосцем, который одолжили для подсобных целей в морском музее Сан-Диего. Из четырех реакторов авианосца действовал только один, и наибольшая скорость старой посудины составляла всего тридцать узлов. К счастью, скорость ветра на уровне моря не достигала и половины этой цифры, поэтому было не так уж трудно добиться штиля на взлетной палубе. Правда, из-за порывов ветра экипаж пережил несколько тревожных секунд сразу после того, как были отданы швартовы, но огромный воздушный корабль без помех вознесся в небо, словно на невидимом лифте. Если все будет идти благополучно, «Куин Элизабет» только через неделю вернется на авианосец.

Все было в полном порядке. Приборы давали нормальные показания. Капитан Фолкен решил подняться наверх и проследить за стыковкой. Передав командование помощнику, он вышел в прозрачную трубу, которая пронизывала сердце корабля. И увидел неизменно ошеломлявшее его зрелище — самое большое пространство, какое человек когда-либо замыкал в одну оболочку.

Десять шаровидных газовых отсеков, каждый тридцати метров в поперечнике, вытянулись цепочкой исполинскими мыльными пузырями. Прочный пластик был настолько прозрачным, что Фолкен видел сквозь него механизмы, от которых его отделяло добрых полкилометра. И он отчетливо различал трехмерный лабиринт каркаса — и длинные балки, протянувшиеся от носа до кормы, и пятнадцать кольцевых

шпангоутов, эти ребра небесного гиганта; их убывающий диаметр придавал его силуэту изящество и обтекаемость.

На малой скорости звуков было немного, только тихо шелестел ветер вдоль оболочки да иногда, при перемене нагрузки, побряхтывал металл. Бестеновой свет укрепленных высоко над головой Фолкена ламп придавал окружающему сходство с подводным миром, и вид прозрачных мешков с газом только усиливал это сходство. Как-то раз, плывя над тропическим рифом, он встретил целую эскадрилью больших, но совсем безопасных, медленно пульсирующих медуз. Пластиковые пузыри, от которых зависела подъемная сила «Куин Элизабет», напоминали ему этих медуз, особенно когда изменялось давление и они чуть колыхались, переливаясь бликами отраженного света.

Вдоль оси корабля Фолкен подошел к лифту в носовой части, между первым и вторым газовыми отсеками. Поднимаясь на обсервационную палубу, заметил, что слишком уж жарко, и сказал об этом в карманный диктофон, чтобы потом принять меры. Около четверти подъемной силы «Куин Элизабет» обеспечивалось неограниченным количеством отбросного тепла, производимого ее реакторами. Загрузка в этом полете была небольшая, поэтому только шесть из десяти газовых отсеков содержали гелий, в остальных был воздух. А ведь они взяли двести тонн воды для балласта. Правда, высокие температуры создавали дополнительные трудности с охлаждением труб. Тут явно есть еще над чем поразмыслить...

На обсервационной палубе его лицо овеял более прохладный воздух, а в глаза ударил ослепительный солнечный свет, проникающий через плексигласовую крышу. Пять или шесть рабочих, которым помогало столько же супершимпанзе, торопливо заканчивали настилать танцевальную площадку, другие тянули электрические провода, расставляли кресла. Глядя на этот упорядоченный хаос, Фолкен сказал себе, что вряд ли все приготовления будут закончены к первому официальному полету, ведь до него осталось всего четыре недели. Впрочем, это не его забота, слава богу. Капитан не отвечает за программу увеселений.

Рабочие приветствовали его жестами, «шимпы» скалили зубы в улыбке. Быстрыми шагами он проследовал мимо них в небесный бар, его любимый уголок на корабле. Когда начнется эксплуатация, здесь уже не уединишься... А пока можно позволить себе отвлечься на пяток минут.

Вызвав мостик, Фолкен убедился, что все по-прежнему в порядке, после чего удобно расположился во вращающемся кресле. Далеко внизу, лаская глаз, серебрились плавные обводы оболочки. Вдоволь насладившись зрелищем самого большого транспортного средства, какое когда-либо соорудилось руками людей, он перевел взгляд вдаль — там до самого горизонта тянулась огромная фантастическая борозда, прорезанная рекой Колорадо за полмиллиарда лет.

Если не считать платформу телевидения — она сейчас опустилась пониже, чтобы снять среднюю часть корабля, — «Куин Элизабет» была одна в небе, вплоть до горизонта —

голубая пустота. Фолкен подумал, что во времена его деда эта голубизна была бы расписана лентами пара и пятнами дыма. Теперь же не было ни того, ни другого. Загрязнение воздуха прекратилось, как только пришел конец примитивной технологии производства. Нынешние пути дальнего сообщения проходят далеко за пределами стратосферы, с земли воздушный транспорт не видно и не слышно. Атмосфера опять всецело принадлежит птицам и облакам. Впрочем, к ним прибавилась и «Куин Элизабет»...

Верно говорили пионеры воздухоплавания в начале двадцатого века, только так и надо путешествовать — в тишине, со всеми удобствами, дыша окружающим воздухом, а не замыкаясь от него в скорлупу, и достаточно близко к земле, чтобы любоваться чередующимися красотами суши и моря. Разве можно было говорить об удобствах, о просторе на реактивных самолетах 1980-х годов, где сотни пассажиров сидели по десять в ряд!

Конечно, «Куин» никогда не будет себя окупать. И даже если осуществится постройка других кораблей того же типа, лишь малая часть населения Земли сможет насладиться этим беззвучным парением в воздухе. Но новизна такого развлечения чего-нибудь стоит. На свете найдется немало людей с достаточно высоким доходом, так что «Куин Элизабет IV» не останется без пассажиров.

Тихо пискнул карманный коммуникатор. Второй пилот вызывал Фолкена с мостика.

— Капитан, разрешите стыковку? Все данные по испытанию получены, а телевизионщики заседают.

Фолкен посмотрел на платформу, которая парила на одном с ним уровне примерно в полтора метра.

— Давайте, — сказал он. — Действуйте, как было условлено. Я буду следить отсюда.

Он снова пересек хаос обсервационной палубы, чтобы лучше видеть среднюю часть корабля. На ходу он ощутил ступнями перемену вибрации. К тому времени, как Фолкен достиг дальнего конца вестибюля, корабль совсем остановился. Пользуясь своим универсальным ключом, капитан открыл дверь и вышел на маленькую смотровую площадку, рассчитанную на пять-шесть человек. Лишь низкие перила отделяли здесь человека от широкой дуги оболочки и от земли далеко внизу. Волнующее место. И вполне безопасное даже на полном ходу, потому что площадку надежно заслонял огромный пузырь обсервационной палубы. Тем не менее пассажиров сюда выпускать не стоит, очень уж дух захватывает.

Люк в носовой части уже открылся, будто двери огромной ловушки, и платформа парила над ним, готовясь спуститься. В будущем этим путем на корабль будут подаваться тысячи пассажиров и тонны груза. Лишь изредка «Куин» будет опускаться до уровня моря и садиться на палубу своей плавучей базы.

Внезапный порыв ветра хлестнул Фолкена по лицу, и он взялся крепче за перила. Над Гранд-Каньоном хватало коварных воздушных ям, но на этой высоте он их не очень



опасался. И Фолкен без особой тревоги следил за снижающейся платформой, которую теперь отделяло от корабля около полусотни метров. Искусный оператор, управляющий на расстоянии платформой телевидения, уже раз десять выполнял этот нехитрый маневр. Какие тут могут быть заминки!

Но что-то у него сегодня реакция замедленная... Все тот же порыв ветра отбросил платформу чуть ли не к самому краю люка. Мог бы раньше притормозить... Отказы в системе управления? Вряд ли. Каждое звено в ней многократно дублировано, страховка полная. Несчастных случаев почти не бывает.

Опять влево понесло... Уж не пьян ли пилот? Немыслимо, конечно, и все же Фолкен задал себе такой вопрос. И потянулся к своему микрофону.

Снова ветер вдруг хлестнул его по лицу. Но Фолкен тут же забыл об этом, он с ужасом смотрел на платформу телевидения. Оператор изо всех сил старался сохранить управление, он манипулировал реактивными струями, пытаясь выровнять платформу, но только усугубил положение. Платформа кренилась все сильнее. Двадцать градусов... сорок... шестьдесят... девяносто...

— Включи автоматику, болван! — прокричал Фолкен в микрофон. — Ручное управление не действует!

Поздно. Платформа опрокинулась вверх дном. И теперь реактивные струи, вместо того чтобы поддерживать, толкали ее вниз, словно вдруг заключили союз с силами тяготения, которым до сих пор противоборствовали.

Фолкен не слышал удара, только ощутил. Он был уже на обсервационной палубе, спеша добраться до лифта и спуститься на мостик. Рабочие тревожно кричали ему вслед, пытались выяснить, что происходит. Но пройдет не один месяц, прежде чем он будет в состоянии ответить на этот вопрос.

Перед самым лифтом он вдруг передумал. А если будет перебой с электроэнергией? Нет, лучше не рисковать, пусть даже он потеряет несколько важных минут. И Фолкен побежал вниз по спиральной лестнице, обвивающей лифтовую шахту.

На полпути Фолкен остановился, чтобы определить степень повреждения. Проклятая платформа прошла насквозь через корабль, пропоров два газовых отсека, которые теперь медленно опадали. Уменьшение подъемной силы не пугало Фолкена — восемь отсеков целы, значит, достаточно сбросить балласт. Гораздо хуже, если пострадал каркас. Он слышал, как металл протестующе стонет от чрезмерной нагрузки. Подъемная сила еще не все. Если она неравномерно распределена, корабль сломает себе хребет...

Фолкен шагнул на следующую ступеньку, в это время сверху показался кричащий от страха шимпанзе. С невыносимой скоростью он лез вниз по решетке лифтовой шахты. От волнения бедняга сорвал с себя фирменный комбинезон — может быть, в этом подсознательно выразилось стремление обрести былую свободу своего рода.

Продолжая бежать по ступенькам Фолкен с беспокойством следил, как животное настигает его. Обезумевший «шимп» достаточно силен и опасен, особенно если страх возьмет верх над внушенными навыками. Догнав Фолкена, обезьяна что-то затараторила, мешая заученные слова. Он только разобрал то и дело повторяемое жалобное «шеф». Смистри ты, даже теперь ждет указания от человека... Он невольно проникся состраданием к зверю, попавшему по вине людей в непостижимую для него катастрофу.

Шимпанзе остановился наравне с Фолкеном, отделенный от него только решеткой. Широкие отверстия позволяли ему легко преодолеть это препятствие, было бы желание. Несколько сантиметров разделяли два лица, и Фолкен смотрел прямо в исполненные ужаса глаза. Никогда еще он не видел «шимпа» так близко. И, разглядывая в упор его черты, поймал себя на чувстве, которое испытывает всякий, кто таким вот образом смотрится в зеркало времени, — чувстве, сочетающем узнавание и неприязнь.

Похоже было, что в его присутствии зверь чувствует себя спокойнее. Фолкен показал вверх, в сторону обсервационной палубы, и четко скомандовал:

— Шеф... шеф... иди!

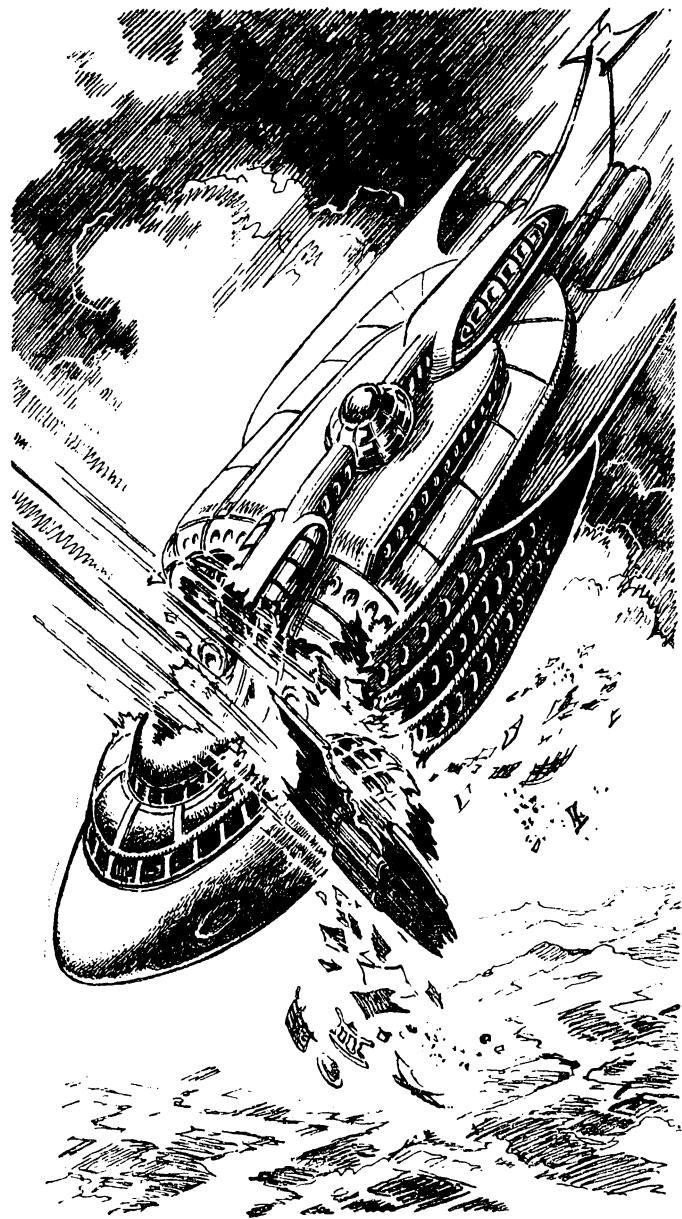
Шимпанзе понял его, изобразил нечто вроде улыбки и ринулся вверх тем же путем, каким спускался. Фолкен от души пожелал ему удачи. Если сейчас на «Куин» есть относительно безопасное место, так это наверху.

Фолкен спустился почти до капитанского мостика, когда заскрежетал ломаемый металл и корабль резко клюнул носом. Лампы погасли, но Фолкен по-прежнему мог различать окружающее благодаря свету, который врывается в открытые люки и огромную прореху в оболочке. Много лет назад он стоял в нефе большого собора и смотрел, как свет, просачиваясь через цветные стекла, ложится пестрыми бликами на старые каменные плиты. Слепительный луч солнца, проникший внутрь поврежденного отсека, напомнил ему о тех минутах. Как будто Фолкен стоял в металлическом соборе, падающем с неба на землю.

Выскочив на мостик, Фолкен с ужасом отметил, что до земли совсем уже близко. Какая-нибудь тысяча метров отделяла корабль от красивых — и смертоносных! — каменных шпилей и красных илистых потоков, которые упорно продолжали вгрызаться в прошлое. И хоть бы один ровный клочок, где корабль такой величины, как «Куин», мог бы плавно приземлиться.

Он взглянул на приборную доску. Так, балласт сброшен. И скорость падения снизилась до нескольких метров в секунду. Что ж, еще есть надежда...

Фолкен молча занял место пилота и взял управление на себя — насколько корабль вообще поддавался еще управлению. Говорить было не о чем, приборы сказали ему все, что нужно. Где-то за его спиной начальник связи вел радиорепортаж. Конечно, все информационные агентства сейчас подключились... Фолкен представлял себе, как беснуются



Рисунки Ю. МАКАРОВА

режиссеры телевизионных станций. В разгаре одно из самых эффектных кораблекрушений за всю историю человечества — и ни одной камеры на месте, чтобы зафиксировать это событие! Последние секунды «Куин» не будут вызывать содрогание и ужас у миллионов зрителей, как это было с «Гинденбургом» полтора столетия тому назад.

До земли оставалось около пятисот метров, и она продолжала медленно приближаться. В распоряжении Фолкена была мощь всех двигателей, но он пока не решался пускать их, боясь, как бы не рассыпался поврежденный каркас. Однако выбора не было. Ветер нес «Куин» к развилке: река в этом месте рассекалась надвое высокой скалой, похожей на форштень некоего древнего окаменевшего корабля. Если курс останется прежним, «Куин» ляжет прямо на этот треугольник, и добрая часть корпуса повиснет над пустотой. И переломится, как трухлявая палка.

Сквозь скрежет металла и шипение уходящего газа до слуха Фолкена донесся знакомый тихий свист маршевых двигателей. Работают! Корабль всколыхнулся и начал крениться влево. Металл скрежетал почти непрерывно, и скорость падения достигла зловещей цифры. Приборы сообщали, что сию минуту лопнул газовый отсек номер пять...

До земли остались считанные метры, а Фолкен все еще не мог определить, дал ли что-нибудь его маневр. Он переключил двигатели на вертикальный ход, чтобы по возможности увеличить подъемную силу и ослабить удар.

Казалось, столкновение с землей растянулось на целую вечность. Сам удар был не таким уж сильным, но достаточно разрушительным. Будто медленно рушилась вся вселенная.

Звук ломаемого металла приближался, словно некий могучий зверь прогрызал себе путь сквозь корпус погибающего корабля.

А потом пол и потолок зажали Фолкена как в тисках.

## 2

— Почему тебе так хочется лететь на Юпитер?

— Как сказал Шпрингер, когда отправился на Плутон: потому что он существует.

— Ясно. А теперь скажи настоящую причину.

Говард Фолкен улыбнулся — впрочем, только хорошо и давно знавший его назвал бы улыбкой эту слабую, напряженную гримасу. Вебстер хорошо знал Фолкена. Больше двадцати лет делили они успех и катастрофы, в том числе самые страшные.

— А что, хотя слова Шпрингера — литературный штамп, все так и есть. Мы достигли всех планет, которые сходны с Землей, но на газовых гигантах еще не побывали. Можно сказать, что они единственная не взятая нами вершина в солнечной системе.

— И штурм ее обойдется дорого. Ты не прикидывал расходы?

— Постарался, вот мои выкладки. Но ты учти, это ведь не одноразовое предприятие. Мы создаем транспортное средство, и если оно себя оправдает, его можно использовать многократно. К тому же мы проникнем не только на Юпитер — все великаны станут доступными.

Вебстер посмотрел на цифры и присвистнул.

— А почему бы не начать с какой-нибудь планеты полегче, скажем, с Урана? Сила тяготения там вдвое меньше — значит, и взлетная скорость. И погода там поспокойнее, если можно применить это слово.

Вебстер явно был хорошо подготовлен к разговору. Что ж, на то он и руководитель планирования...

— Не так уж много на этом выиграешь, если учесть, что и путь побольше, и маневрировать сложнее. На Юпитере нам Ганимед поможет. А у Сатурна пришлось бы подвешивать новую базу.

«Логично, — сказал себе Вебстер. — И все-таки не это основная причина... Юпитер — властелин солнечной системы. И Фолкену, конечно же, подавай главную вершину».

— Кроме того, — продолжал Фолкен, — Юпитер и для науки орешек покрепче. Больше ста лет прошло, как были открыты его радиостормы, а мы все еще не знаем, что их вызывает. И «Большое красное пятно» по-прежнему остается загадкой. Поэтому я рассчитываю на средства от Комитета аэронавтики. Знаешь, сколько зондов послано в атмосферу Юпитера?

— Сотни две, должно быть.

— Триста двадцать шесть за последние полсотни лет. И каждый четвертый — впустую. Конечно, собрана куча данных, но что это для такой планеты... Ты представляешь себе, насколько она велика?

— В десять с лишним раз больше Земли.

— Так-то так, но что это означает? — Фолкен повернулся к большому глобусу, который стоял в углу кабинета Вебстера. — Погляди на Индию — много места она занимает? Ну вот, если поверхность земного шара распластать на поверхности Юпитера, она там займет столько же, сколько Индия у нас.

Они помолчали. Вебстер размышлял над этим сравнением: Юпитер относится к Земле, как Земля к Индии. Удачный пример, и, конечно, Фолкен не случайно его выбрал.

Неужели десять лет прошло? Да, не меньше... Авария произошла семь лет назад (эта дата на всю жизнь врезалась в его память), а предварительные тесты начались за три года до первого и последнего полета «Куин Элизабет».

Десять лет назад капитан (нет, тогда лейтенант) Фолкен пригласил его полетать дня три над равнинами Северной Индии с вершинами Гималаев на горизонте.

— Совершенно безопасно, — заверил он. — Отдохнешь три дня от бумаг и представишь себе, о чем идет речь.

Вебстер не был разочарован. Если не считать его первого посещения Луны, этот полет был самым памятным событием его жизни. Хотя, как и говорил ему Фолкен, никаких опасностей и никаких особых приключений не было.

Они взлетели в Сринагаре как раз на рассвете. Огромный серебристый шар уже отражал первые лучи солнца. Взлет происходил в полной тишине — никакого рева газовых горелок, которые обеспечивали подъемную силу старинным «монгольфьерам». Все необходимое тепло давал небольшой, весом около ста килограммов, импульсный реактор, подвешенный в устье шара. В горизонтальном полете достаточно было нескольких импульсов в минуту, чтобы компенсировать расход тепла в оболочке.

Даже в полутора километрах над землей они слышали лай собак, людскую речь. Все шире простирался над ними залитый солнцем ландшафт. Через два часа шар уравновесился на высоте пяти тысяч метров; здесь им то и дело приходилось дышать через кислородную маску. И можно было без забот любоваться пейзажами, приборы выполняли за них всю работу. В частности, собирали данные для тех, кто проектировал тогда еще безымянный линейный корабль для воздушного океана.

День выдался превосходный. До начала юго-западного муссона оставался целый месяц, и в небе не было ни облачка. Время будто остановилось, и только радио нехотая каждый час нарушало их грезы. Кругом во все стороны, до горизонта и дальше простирался древний, дышащий историей ландшафт — лоскутное одеяло из городов, полей, храмов, озер, оросительных каналов...

Усилием воли Вебстер освободился от чар воспоминаний десятилетней давности. Полет на воздушном шаре сделал его сторонником аппаратов легче воздуха. И помог ему осознать, как огромна Индия даже в мире, который можно облететь за девяносто минут. А ведь Юпитер, повторил он про себя, относится к Земле, как Земля относится к Индии...

— Допустим, мы согласимся с твоими доводами, — сказал он вслух, — и допустим, найдутся средства на этот проект. Остается еще один вопрос: почему ты уверен, что справишься с задачей лучше, чем те — сколько их было? — да, триста двадцать шесть автоматических зондов, которые уже были запущены?

— Я превосхожу автоматы и как наблюдатель, и как пилот. Особенно как пилот. Не забудь, у меня больше опыта работы с аппаратами легче воздуха, чем у кого-либо еще на свете.

— Ты вполне можешь сидеть в полной безопасности в центре управления на Ганимеде.

— Но ведь в том-то и дело, что это уже было! Ты забыл, что погубило «Куин»?

Вебстер знал причину, однако ответил:

— Продолжай!

— Запоздание — запоздание! Оператор, этот болван, думал, что работает через местный передатчик, а на самом деле его подключили к спутнику. Не его вина, конечно, но заметить-то должен был. И пока сигнал проходил в оба конца, получалось опоздание на полсекунды. Пустяк, казалось бы, и не было бы никакой беды, если бы мы шли в спокойном воздухе. Но турбулентность над Гранд-Каньо-

ном все испортила. Платформа накренилась — оператор давай ее выравнивать. А она за это время уже успела наклониться в другую сторону. Ты пробовал когда-нибудь вести по неровной дороге машину, которая слушается руля с опозданием на полсекунды?

— Не пробовал и не собираюсь. Но могу себе представить, что это такое.

— Так вот, от Ганимеда до Юпитера миллион километров. И получается суммарное запаздывание сигнала — шесть секунд. Так что оператор должен находиться на месте, чтобы вовремя принимать меры, если что случится. Вот я тебе сейчас покажу одну штуку... Можно это взять?

— Конечно, бери.

Фолкен взял с письменного стола открытку. На Земле почти перестали пользоваться открытками, но эта изображала объемный марсианский ландшафт и была обклеена редкими дорогими марками. Фолкен держал ее вертикально.

— Старый трюк, но он поможет мне объяснить, что я подразумеваю. Пропусти открытку между большим и указательным пальцами, но не касайся ее... Вот так.

Вебстер протянул руку и поднес пальцы вплотную к открытке.

— Теперь лови!

Фолкен подождал несколько секунд, потом вдруг выпустил открытку. Пальцы Вебстера схватили пустоту.

— Давай еще раз, чтобы ты убедился, что тут нет никакого жульничества. Видишь?

Открытка снова проскользнула между пальцами Вебстера.

— А теперь испытай меня!

Взяв открытку, Вебстер тоже внезапно выпустил ее. И почти тотчас она оказалась зажатой между пальцами Фолкена. Реакция была настолько быстрой, что Вебстеру даже почудилось, будто он услышал щелчок реле.

— Когда хирурги собирали меня по частям, — заметил Фолкен бесстрастно, — они внесли кое-какие усовершенствования. И это только одно из них. Мне хочется извлечь из них максимум пользы. И Юпитер для этого очень подходит.

Несколько секунд Вебстер глядел на открытку, впитывая глазами неправдоподобные краски на склонах Харона. Потом произнес:

— Понятно. И сколько времени уйдет на подготовку?

— С твоей помощью да при поддержке комитета и разных научных организаций, которые нам удастся привлечь, года три. Да еще год на испытания, ведь придется запустить по меньшей мере два пробных аппарата. В общем, если все пройдет гладко, — пять лет.

— Примерно так я и думал. Что ж, желаю тебе успеха. Ты его заслужил. Но в одном деле я тебе не союзник.

— Это в каком же?

— Когда в следующий раз отправишься на воздушном шаре, не рассчитывай, что я пойду с тобой пассажиром.

На путь от Юпитера-V до самого Юпитера — около ста тысяч километров — уходит всего три с половиной часа. Мало кто мог бы уснуть на таком отрезке. Говард Фолкен вообще считал потребность в сне слабостью, а когда его мозг все же нуждался в отдыхе, его преследовали сны, с которыми время до сих пор не совладало. Но в ближайшие три дня не приходилось рассчитывать на отдых — значит, надо отдыхать сейчас, пока длится падение в океан облаков.

Как только «Кон-Тики» лег на нужный курс и бортовая ЭВМ сообщила, что все в порядке, Фолкен приготовился ко сну, который для него мог оказаться последним. Будто по заказу, в эту самую минуту Юпитер заслонил непривычно маленькое солнце — «Кон-Тики» вошел в огромную тень от планеты. Некоторое время корабль плыл в каких-то необычных золотистых сумерках, потом четверть неба превратилась в сплошную черную дыру, окаймленную мириадами звезд. Сколько ни углубляйся в дали солнечной системы, звезды не меняются. Те же созвездия были сейчас видны на Земле, за миллионы километров от Юпитера. Нового здесь только маленькие тусклые серпы Каллисто и Ганимеда. В разных точках неба находилось еще с десятков лун, но они были слишком малы и слишком далеко от него, чтобы различить их невооруженным глазом.

— Я сосну часика два, — передал Фолкен на базу, которая висела в полутора тысячах километров над пустынными скалами Юпитера-V, заслоненная им от планетной радиации.

От этой крохотной луны была хоть та польза, что она играла роль космического щита, перехватывая заряженные частицы, из-за которых человеку было вредно надолго задерживаться вблизи Юпитера. За ее спиной можно было спокойно останавливать корабль, не опасаясь пронизывающей космос смертоносной радиации.

Фолкен включил индуктор сна, и ласковые электрические импульсы быстро убаюкали его. Пока «Кон-Тики» падал на Юпитер, с каждой секундой ускоряя ход в могучем поле тяготения, он спал без снов. Сны придут перед самым пробуждением — придут земные кошмары...

Впрочем, само крушение не снилось ему ни разу, зато он часто оказывался лицом к лицу с супершимпанзе на спиральной лестнице между опадающими газовыми секциями. Ни один из шимпанзе не выжил. Те, которые не погибли сразу, получили настолько серьезные повреждения, что их подвергли безболезненной эвтаназии. Не раз Фолкен спрашивал себя, почему ему снится лишь это обреченное существо — ведь он впервые встретился с ним за несколько минут до его гибели, — а не друзья и коллеги по работе на «Куине».

Но больше всего боялся он снов, в которых действие начиналось с того момента, когда к нему вернулось сознание. И боялся не из-за физической боли — поначалу он



вообще ничего не чувствовал. Только мрак да тишина кругом, ему даже казалось, что он не дышит. И самое странное — он потерял свои руки и ноги. Не мог пошевелить пальцами, потому что не знал, куда они подевались.

Сперва отступила тишина. Через несколько часов или дней он уловил какой-то пульсирующий звук. И после долгого раздумья заключил, что это бьется его собственное сердце. Первая в ряду многих ошибок, которые последовали затем...

Дальше слабые уколы, вспышки света, неясные ощущения в конечностях, по-прежнему бездействующих. Один за другим оживали органы чувств. И с ними ожила боль. Ему пришлось учить все сначала, пришлось повторить детство. Память не пострадала, и Фолкен понимал все, что ему говорили, но несколько месяцев он мог только мигать в ответ. Он помнил счастливые минуты, когда сумел вымолвить свое первое слово, перевернуть страницу книги и когда наконец сам пошел. Немалое достижение, и готовился он к этому два года... Сотни раз Фолкен завидовал погибшему супершimpanзе, но ведь у него не было выбора, врачи решились все за него. И вот теперь, двенадцать лет спустя, он находится там, где до него не бывал ни один человек.

«Кон-Тики» приближался к краю тени, и юпитерианский рассвет вылепил исполинскую световую дугу в небе перед ним, когда тревожный голос зуммера вырвал Фолкена из объятий сна. Непременные кошмары (он как раз хотел вызвать медицинскую сестру, но не хватило сил даже нажать на кнопку) быстро уступили место другим впечатлениям. Начиналось величайшее — и возможно, последнее — приключение в его жизни.

Фолкен вызвал Центр управления — он должен был вот-вот скрыться за Юпитером — и доложил, что все идет нормально. Почти сто тысяч километров отделяло его от базы, и скорость «Кон-Тики» уже перевалила за пятьдесят километров в секунду — изрядная величина! Через полчаса он войдет в верхние, затем в плотные слои атмосферы, и во всей солнечной системе нет более трудного места для такого маневра... Правда, десятки зондов благополучно прошли через это огненное чистилище, но ведь речь шла о батареях компактно сконструированных приборов, способных выдержать не одну сотню G. Максимальная нагрузка на «Кон-Тики» — пока он не уравновесится в верхнем слое атмосферы Юпитера — составит тридцать G, средняя — больше десяти. Основательно, не торопясь. Фолкен пристегивал сложную систему амортизирующей подвески, соединенную со стенами кабины. Закончив эту процедуру, он сам стал как бы частью остова.

Часы вели обратный отсчет: осталось сто секунд. Теперь возврата нет, будь что будет... Через полторы минуты он войдет в атмосферу Юпитера и окажется всецело во власти исполина.

Ошибка в отсчете составила всего три секунды — не так уж плохо, если подумать, сколько тут неизвестных фак-

торов. Через стены капсулы доносились жуткие вздохи, они переросли в высокий, пронзительный вой. Совсем другой звук, чем при посадке на Землю или на Марс. Разреженная атмосфера, состоящая из водорода и гелия, транспонировала все звуки на несколько октав выше. На Юпитере даже в раскатах грома будут звучать фальцетные обертоны.

Вместе с нарастающим воем нарастала и перегрузка. Через несколько секунд Фолкена словно сковал паралич. Поле зрения уменьшилось до такой степени, что он видел только часы и акселерометр. Пятнадцать G, и осталось терпеть четыреста восемьдесят секунд...

Он не потерял сознания. Да иначе и быть не могло. Фолкен представил себе, какой великолепный хвост тянется за «Кон-Тики» в юпитерианской атмосфере на несколько тысяч километров. Через пятьсот секунд после вхождения в атмосферу перегрузка пошла на убыль. Десять G, пять, два... Потом тяжесть почти совсем исчезла, огромная орбитальная скорость была погашена, началось свободное падение.

Внезапный толчок дал знать Фолкелю, что сброшена раскаленная тепловая защита — то, что от нее осталось. Она выполнила свою функцию и больше не понадобится, пусть достается Юпитеру. Отстегнув все пряжки, кроме двух, он стал ждать, когда программный механизм начнет выполнять следующую, самую ответственную серию операций.

Фолкен не видел, как раскрылся первый тормозной парашют, но ощутил легкий рывок, и скорость падения сразу уменьшилась. Горизонтальная составляющая скорости «Кон-Тики» была полностью погашена, теперь аппарат двигался прямо вниз со скоростью полутора тысяч километров в час. Последующие шестьдесят секунд все решат...

Пошел второй поплавок. Фолкен посмотрел в верхний иллюминатор и с облегчением увидел, как над падающим аппаратом колышется облако сверкающей пленки. Огромным цветком в небе раскрылась оболочка воздушного шара и стала надуваться, зачерпывая разреженный газ. Полный объем составлял несколько тысяч кубических метров, и скорость падения «Кон-Тики» быстро упала до нескольких километров в час. На этом рубеже она стабилизировалась. Теперь у Фолкена было вдоволь времени — аппарат будет падать не один день, прежде чем достигнет поверхности планеты.

Но он ее все-таки достигнет, если не принимать никаких мер. Сейчас шар играл всего-навсего роль мощного парашюта, он не обладал подъемной силой. Да и откуда ей взяться, ведь внутри тот же газ, что и снаружи.

С характерным и слегка нервующим потрескиванием заработал реактор, посылая струи тепла в оболочку. Через пять минут скорость падения снизилась до нуля. Еще через минуту аппарат начал подниматься. Согласно радиовысотмеру он уравнился на высоте около четырехсот двадцати семи тысяч метров над поверхностью Юпитера — или над тем, что заменяло поверхность.

Только один шар может плавать в атмосфере самого легкого газа — водорода: шар, наполненный подогретым во-

дорогом. Пока работал реактор, Фолкен мог спокойно парить над миром, где разместилась бы сотня Тихих океанов. Покрыв больше пятисот миллионов километров, «Кон-Тики» наконец-то начал оправдывать свое название. Воздушный плот плыл по течению в океане юпитерианской атмосферы...

Хотя кругом простирался новый мир, прошло больше часа, прежде чем Фолкен смог сосредоточить внимание на панораме. Сперва надо было проверить все системы капсулы, опробовать все рукоятки управления. Определить, насколько нужно увеличить расход тепла, чтобы подниматься с той или иной скоростью, сколько газа нужно выпустить, чтобы опускаться. Но прежде всего добиться стабильности. Отрегулировать длину тросов, соединяющих капсулу с огромной грушей оболочки, и погасить вибрацию, чтобы полет был возможно более плавным. До сих пор ему сопутствовало счастье. Ветер на этой высоте был устойчивым, и доплеровская локация показывала, что относительно невидимой поверхности он летит со скоростью трехсот сорока восьми километров в час. Для Юпитера очень скромная цифра, здесь отмечены скорости ветра до полутора тысяч километров в час. Но, конечно, дело не в одной скорости. Главная опасность — турбулентные потоки. Если попадутся воздушные ямы, его выручит только умелое маневрирование, опыт, быстрота реакций — все то, чего не заложить в программу автомата.

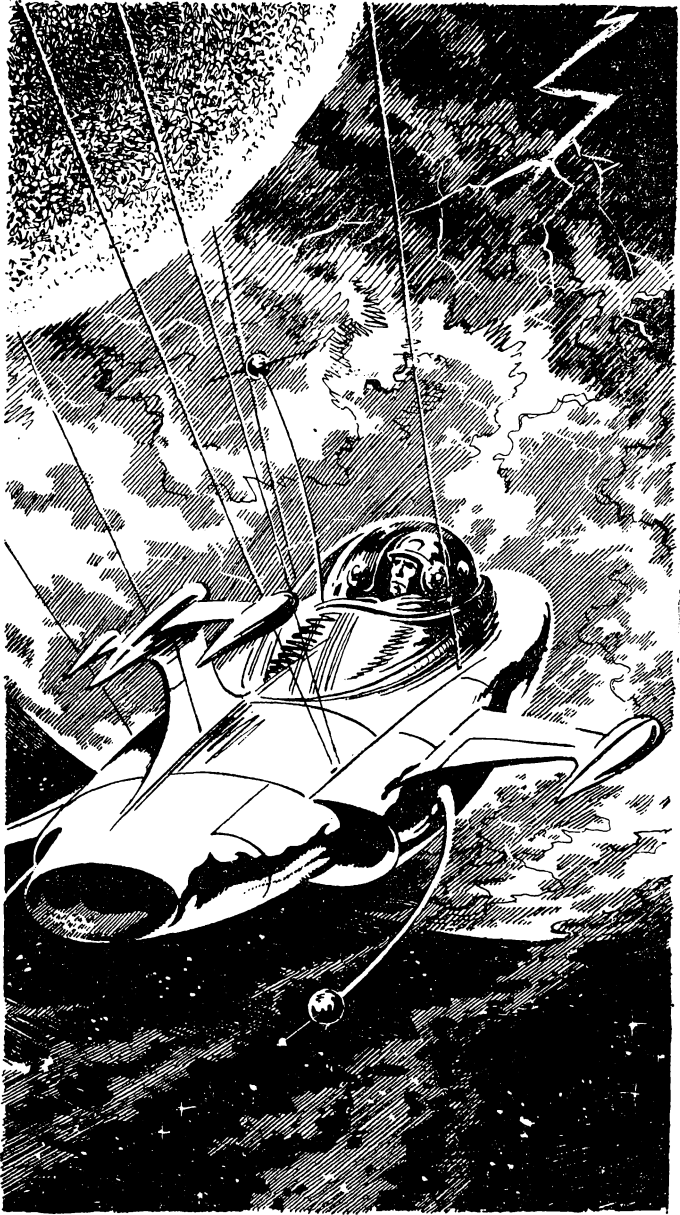
Лишь основательно освоившись с необычным аппаратом, Фолкен решил откликнуться на настойчивые вызовы Центра управления, после чего выпустил штанги с измерительными приборами и устройствами для анализа атмосферы. И хотя капсула теперь напоминала небрежно украшенную рождественскую елку, она все так же легко реяла над Юпитером, посылая непрерывный поток информации на магнитофоны далекой базы. Наконец-то Фолкен получил возможность осмотреться.

Первые впечатления были неожиданными и в какой-то мере разочаровывающими. Если говорить о масштабах, то с таким же успехом он мог лететь над земными облаками. Горизонт там, где ему и положено быть, никакого ощущения, что летишь над планетой, поперечник которой в одиннадцать раз превосходит диаметр Земли. Но стоило Фолкену бросить взгляд на инфракрасный локатор, прощупывающий слои воздуха внизу, и он понял, как сильно обмануло его зрение.

Облачный слой на самом деле был не в пяти, а в шести-десяти километрах под ним. А до горизонта не двести километров, как ему казалось, а почти три тысячи.

Кристалльная прозрачность гелие-водородной атмосферы и колоссальные дуги Юпитера совершенно сбили его с толку. Определить на глаз расстояние здесь было еще труднее, чем на Луне. Каждый видимый отрезок надо умножать по меньшей мере в десять раз.

Элементарный случай, и ничего неожиданного. И тем не менее Фолкену почему-то было не по себе. Такое чувство,



словно не в Юпитере дело, а сам он уменьшился в десять раз... Возможно, со временем он привыкнет к чудовищным масштабам этого мира, а сейчас как поглядишь на невообразимо далекий горизонт, так и чудится, что душу сковывает холодный — холоднее окружающей атмосферы — ветер. Да, что ни говори, непохоже, чтобы эта планета когда-либо могла стать обителью человека. Очень может быть, что Фолкен суждено остаться первым и последним человеком, проникшим под облака Юпитера.

Небо было почти черным, если не считать нескольких размытых аммиачных облаков километрах в двадцати над аппаратом. Там, на границе стратосферы, достаточно холодно, но с уменьшением высоты быстро росла температура и давление. В зоне, где сейчас парил «Кон-Тики», градусник показывал минус пятьдесят — давление равнялось пяти атмосферам. В ста километрах ниже будет жарко, как в земных тропиках, а давление такое же, как на дне глубокого моря. Идеальные условия для возникновения жизни...

Минула четвертая часть короткого юпитерианского дня. Солнце поднялось уже довольно высоко, но сплошная пелена облаков внизу была озарена удивительно мягким светом. Лишних пятьсот миллионов километров заметно умерили силу солнечных лучей. Несмотря на ясное небо, Фолкен не мог избавиться от ощущения, что выдался пасмурный день. Надо думать, ночь спустится очень быстро. А пока царило словно осеннее утро. С той поправкой, что на Юпитере не бывает осени, вообще нет никаких времен года.

«Кон-Тики» вошел в атмосферу в центре экваториальной зоны — наименее красочной из широтных зон планеты. Облачная пелена была лишь чуть-чуть тронута желтизной, не то что желтые, розовые, даже красные кольца, опоясывающие Юпитер в более высоких широтах. Знаменитое «красное пятно», самая броская примета Юпитера, находилось далеко на юге. Было очень соблазнительно опуститься там, но атмосферная активность в южных тропиках была слишком велика, скорость течений достигала полутора тысяч километров в час. Нырять в чудовищный водоворот неведомых стихий значило напрашиваться на большие неприятности. Пусть будущие экспедиции займутся «красным пятном» и его загадками.

Солнце перемещалось в небе вдвое быстрее, чем на Земле. Оно уже приблизилось к зениту, и серебристый балдахин газовой оболочки заслонил его. «Кон-Тики» по-прежнему шел на запад со скоростью трехсот пятидесяти километров в час, сохраняя ровный ход. Всегда ли здесь так спокойно? Похоже, что ученые, которые говорили о штелевых полосах Юпитера и называли экватор самой тихой зоной, не ошиблись. Фолкен весьма скептически относился к такого рода прогнозам, ему гораздо больше импонировали слова одного на редкость скромного исследователя, категорически заявившего: «Никто не знает точно, что делается на Юпитере».

Что ж, под конец дня кто-то будет это знать...

Если Фолкен сумеет дожить до ночи.

В этот первый день всевышний был к нему милостив. На Юпитере было так же тихо и мирно, как над равнинами Северной Индии много лет назад, когда он парил в земных небесах вместе с Вебстером. У Фолкена было время овладеть своими новыми способностями до такой степени, что он будто слился с «Кон-Тики». Он никак не рассчитывал на такую удачу и спрашивал себя, какой ценой придется за нее расплачиваться.

Пятичасовой день подходил к концу. Изборожденные теньями облака внизу теперь казались массивнее, чем когда Солнце стояло выше в небе. Краски заката поблекли, только прямо на западе горизонт опоясывала полоса темнеющего пурпура. Над нею бледным серпом светилась одна из лун.

Простым глазом было видно, как Солнце быстро ушло за край планеты, до которого было около трех тысяч километров. Вспыхнули мириады звезд, и в их числе на самом краю сумеречной зоны прекрасная вечерняя звезда Земли — напоминание о том, как далеко он находится от родного мира. Следом за Солнцем она скрылась на западе. Началась первая ночь человека на Юпитере.

С наступлением темноты «Кон-Тики» пошел вниз. Шар уже не нагревался солнечными лучами и потерял частицу своей подъемной силы. Фолкен не стал возмещать потерю. Этот спуск входил в его планы.

До незримой пелены облаков оставалось больше пятидесяти километров. Около полуночи он достигнет ее. А пока облака можно наблюдать на экране инфракрасного локатора; тот же прибор сообщал, что в них, кроме водорода, гелия и аммиака, множество сложных углеродистых соединений. Химики с огромным нетерпением ждали проб этого рыхлого розового вещества. Правда, автоматические зонды уже доставили несколько граммов, но от такой малости у исследователей лишь еще больше разгорелся аппетит. Высоко над поверхностью Юпитера в атмосфере была обнаружена добрая половина молекул, необходимых для возникновения жизни. Есть строительный материал — так, может быть, и постройки существуют? Этот вопрос уже свыше ста лет оставался без ответа.

Инфракрасные лучи отражались облаками, но миллиметровые волны пронизывали их слой за слоем и ощупывали поверхность планеты в четырехстах километрах под «Кон-Тики». Путь туда был Фолкenu закрыт колоссальными давлениями и температурами. Даже автоматы не могли невредимыми достичь поверхности Юпитера. Вот она — на экране радара, манящая и неприступная... И приборы бессильны расшифровать тайну ее своеобразной зернистой структуры.

Через час после захода Солнца Фолкен выпустил первый зонд. Он быстро пролетел первые сто километров, потом завис в более плотных слоях и передал вагон данных, которые Фолкен транслировал в Центр управления, после чего ему до самого восхода Солнца оставалось лишь следить за скоростью снижения, снимать показания приборов да иног-

да отвечать на запросы. Влекомый устойчивым течением, «Кон-Тики» мог сам собой управлять.

Перед самой полночью в Центре заступила на дежурство оператор-женщина. Она представилась Фолкену, они обменялись привычными остротами. Через десять минут он снова услышал ее голос, на этот раз серьезный и взволнованный.

— Говард! Прослушай сорок шестой канал.

Сорок шестой? Телеметрических каналов было столько, что он помнил лишь самые важные. Но как только установил переключатель в нужное положение, сразу понял, что принимает сигналы от микрофона на зонде, который висел в ста тридцати километрах под ним в атмосфере, плотность приближающейся к воде.

Сперва он услышал шипение ветра — необычного ветра, который дул там, во мраке непостижимого мира. А затем на этом фоне родилась мощная вибрация. Сильнее... сильнее... будто рокот исполинского барабана. Сила звука была такая, что Фолкен не только слышал, но и осязал его. И частота ударов непрерывно возрастала, хотя высота тона не изменялась. Под конец рокот слился почти в сплошной гул на нижнем пределе доступных человеческому уху частот. И вдруг он оборвался, смолк — смолк так внезапно, что мозг не сразу воспринял тишину, память продолжала отзываться эхом где-то в черепной полости.

Фолкен в жизни не слышал ничего похожего, никакие земные звуки не шли тут в сравнение. Тщетно пытался он представить себе какое-нибудь явление природы, способное породить такую вибрацию. И на голос животного непохоже, даже если взять больших китов...

Звук повторился, повторился в точности. На этот раз Фолкен подготовился и засек его продолжительность. От первой слабой вибрации до заключительного крещендо чуть больше десяти секунд.

А еще он услышал настоящее эхо, очень слабое и далекое. Возможно, звук отразился от одного из многочисленных атмосферных слоев. Возможно, от какого-нибудь другого, еще более удаленного препятствия. Фолкен подождал, однако второго эха не было.

Центр управления реагировал немедленно и попросил его выпустить второй зонд. Два микрофона позволят хотя бы приблизительно локализовать источники звука. Как ни странно, наружные микрофоны самого «Кон-Тики» уловили только шум ветра. Очевидно, таинственный рокот встретил препятствие в виде отражающего слоя и растекся вдоль него.

Приборы определили, что звуки исходили из нескольких сгруппированных вместе источников, до которых было около двух тысяч километров. Изрядное расстояние еще ничего не говорило об их мощи. В земных океанах довольно слабые звуки могут пройти такой же путь. Что до само собой напрашивающегося предположения, что виновниками были живые существа, то главный экзобиолог сразу же отверг его.

— Я буду очень разочарован, — сказал доктор Бреннер, — если здесь не окажется ни растений, ни микроорганизмов. Но ничего похожего на животных не может быть там, где отсутствует свободный кислород. Все биохимические реакции на Юпитере должны протекать на низком энергетическом уровне. Активному существу попросту не откуда почерпнуть силы для своих жизненных функций.

Аргументы Бреннера показали Фолкену не очень убедительными. Он уже слышал их раньше и предпочел не спешить с выводами.

— Так или иначе, — продолжал экзобиолог, — длина звуковой волны порой достигала девяноста метров! Даже зверь величиной с кита не способен производить такие звуки. Так что речь идет о каком-то природном явлении.

Что ж, весьма правдоподобная версия. Наверное, физики найдут ответ. В самом деле, как истолкует слепой пришелец из другого мира гул бушующего моря, или гейзера, или вулкана, или водопада? Он вполне может приписать эти звуки огромному животному.

Примерно за час до восхода голоса из пучины смолкли, и Фолкен стал готовиться ко второй встрече юпитерианского рассвета. От ближайшей пелены облаков «Кон-Тики» теперь отделяло всего пять километров. Наружное давление возросло до десяти атмосфер, температура царила тропическая — тридцать градусов. Человек вполне мог бы находиться в такой атмосфере, надев акваланг с надлежащей оксигелиевой смесью.

— Принимай приятные новости, — сообщил Центр управления сразу после восхода Солнца. — Облака начинают рассеиваться. Через час местами совсем прояснится. Но остерегайся турбулентности!

— Уже чувствую кое-что, — ответил Фолкен. — На какую глубину я буду видеть?

— Километров на двадцать, до следующего слоя конденсации. Та пелена будет поплотнее, она никогда не расколет.

«И для меня она недоступна», — сказал себе Фолкен. Температуры там превышают сто градусов. Впервые «потолок» находился не над головой воздухоплатателя, а под его ногами!

Через десять минут он заметил то, что Центр управления уже обнаружил сверху. Окраска облаков у горизонта изменилась, поверхность стала неровной, бугристой, словно ее кто-то смял. Фолкен слегка подстегнул свой маленький реактор и набрал пяток километров высоты, чтобы лучше видеть.

Внизу и в самом деле быстро ширился просвет, как будто что-то растворяло плотную пелену. Перед его глазами разверзлась бездна. «Кон-Тики» очутился над окном глубиной около двадцати и шириной около тысячи километров.

Со всем новым мир открылся Фолкену. Юпитер сбросил одну из своих многочисленных вуалей. Вторая пелена, дразнящая воображение своей недосыгаемостью, была намного темнее первой. Цвет розоватый, с островками пятен кирпич-



ного оттенка. Пятна были овальные, вытянутые в направлении господствующего ветра, с востока на запад, примерно одинаковой величины. Фолкен насчитал сотни таких островков — они напоминали ему пухлые кучевые облака в земных небесах.

Он уменьшил подъемную силу, и «Кон-Тики» пошел вниз вдоль тающего обрыва. И тут Фолкен увидел снег.

Белые хлопья возникали в воздухе и медленно падали. Но откуда в такой жаре снег? Не говоря уже о том, что на этой высоте вряд ли можно найти пары воды! К тому же низвергающийся сверху каскад хлопьев не сверкал и не переливался на солнце. Несколько штук легли на штангу перед главным иллюминатором, и Фолкен смог рассмотреть их. Белые, матовые, непрозрачные... Отнюдь не кристаллические... И довольно большие, сантиметров десять в поперечнике. Похоже на воск. Скорее всего воск и есть. В атмосфере вокруг «Кон-Тики» идет какая-то химическая реакция, она и рождает парящие над Юпитером хлопья углеводородов.

Километрах в ста прямо по курсу что-то всколыхнуло вторую облачную пелену. Красные овалы заметались, потом начали выстраиваться по спирали. Обычная схема циклона, хорошо знакомая земной метеорологии. Спираль ширилась с поразительной быстротой. Если там рождается ураган, «Кон-Тики» ожидают немалые проблемы...

В следующий миг тревога в душе Фолкена сменилась удивлением. А удивление уступило место страху... Нет, это вовсе не ураган. Что-то огромное, не один десяток километров в поперечнике, всплывало из толщи облаков на его пути.

Может быть, просто-напросто облако, грозовое облако заварилось в нижних слоях атмосферы? Да нет, тут что-то плотное. Что-то плотное пропороло розоватую пелену, буд-то всплывший из глубин айсберг.

Айсберг, плавающий в водородной среде? Вздор, конечно. И все же в этом сравнении что-то было. Направив свой телескоп на загадочный бугор, Фолкен рассмотрел какую-то беловатую аморфную массу с красными и бурными полосами. Не иначе, перед ним то самое вещество, которое образует «снежинки». Целая гора воска. И не такая уж она компактная, как ему показалось сначала. Кромка таинственного образования все время крошилась и переливалась...

— Я знаю, что это такое, — доложил он в Центр управления, который уже несколько минут осыпал его тревожными запросами. — Скопление пузырьков, какая-то пена — углеводородная пена. Скажите химикам, пусть... Нет, постойте!

— В чем дело? — заволновался Центр. — Что случилось?

Пренебрегая отчаянными призывами из космоса, Фолкен сосредоточил все внимание на том, что ему рисовал телескоп. Тут необходима полная уверенность... Ошибешься — станешь посмешищем для всей солнечной системы.

Наконец он расслабился, поглядел на часы и отключил настойчивый голос Центра.

— Вызываю Центр управления, — сухо произнес он в микрофон. — Говорит Говард Фолкен с борта «Кон-Тики». Эфемеридное время — девятнадцать часов, двадцать одна минута, пятнадцать секунд. Широта ноль градусов, пять минут, северная. Долгота сто пять градусов, сорок две минуты, система один. Передайте доктору Бреннеру, что на Юпитере есть живые организмы. Да еще какие!..

## 5

— Я очень рад, что мое утверждение опровергнуто, — донесло радио веселый голос доктора Бреннера. — У природы всегда в запасе какой-нибудь козырь. А теперь наведи-ка на цель дальнобойную камеру и передай нам возможно более четкую картинку.

До восковой горы было еще слишком далеко, чтобы Фолкен мог как следует рассмотреть то, что двигалось вверх-вниз по ее склонам. Во всяком случае, что-то очень большое, иначе он вообще ничего не увидел бы... Почти черные существа, формой напоминающие наконечник стрелы, совершали медленные волнообразные движения — будто исполненные «манты» плавали над тропическим рифом.

Можно было подумать, что боги пасут свой скот на облачных лугах Юпитера, ведь эти твари явно обгладывали бурые полосы, избороздившие склоны горы, словно высохшие русла. Время от времени то одна, то другая тварь ныряла в пенную массу и пропадала из виду.

«Кон-Тики» летел очень медленно по отношению к облакам внизу. Пройдет не меньше трех часов, прежде чем он достигнет восковых бугров. И солнце опережало его — хоть бы успеть до темноты получить хорошее изображение этих «мант» и зыбкого ландшафта, над которым они парят.

И какие же это были долгие часы! Фолкен все время держал включенными наружные микрофоны — может быть, перед ним объяснение ночного рокота? «Манты» были достаточно велики, чтобы издавать такие звуки. Точное измерение показало, что размах крыльев у них почти девяносто метров. В три раза больше длины самого крупного кита. Но вес от силы несколько тонн.

За полчаса до заката «Кон-Тики» подошел к «горе».

— Нет, — отвечал Фолкен на повторные запросы Центра управления, — они по-прежнему никак не реагируют на мое присутствие. Не думаю, чтобы это были разумные создания. Скорее какие-нибудь безобидные травоядные. И даже если бы попытались напасть, все равно им не подняться на такую высоту.

По чести говоря, он был слегка разочарован тем, что «манты» не обратили на него никакого внимания, когда он пролетал над их пастбищем. Может быть, они и не могут его обнаружить... Разглядывая и фотографируя их через телескоп, Фолкен не заметил ничего похожего на органы

чувств. Будто огромные черные дельты из греческого алфавита сновали над горами и долами, которые плотностью немногим превосходили земные облака. На вид-то вон какие прочные, а наступи на белый склон — и провалишься, как сквозь папиросную бумагу.

Вблизи он рассмотрел слагающие «гору» многочисленные полости или пузыри. Иные достигали больше метра в поперечнике, и Фолкен спрашивал себя, в каком чертовом котле варилась эта смесь углеводов. Похоже, если зарыться поглубже в юпитерианскую атмосферу, найдешь столько полезного сырья, что землянам хватит на миллион лет.

Короткий день был на исходе, когда «Кон-Тики» прошел над гребнем восковой «горы»; ее нижние склоны уже обволакивал сумрак. На западной стороне «мант» не было, и рельеф тут почему-то выглядел совсем иначе. Длинные горизонтальные террасы, вылепленные из пены, чем-то напоминали внутренность лунного кратера. Ни дать ни взять исполинские ступени, ведущие вниз, к невидимой поверхности планеты.

На нижней ступеньке, как раз над роем облаков, которые «гора» потеснила, вздымаясь к небесам, прилепилась какая-то почти овальная масса шириной в несколько километров. Ее трудно было обнаружить, она была лишь чуть темнее окружающей сероватой пены. В первую минуту Фолкену почудилось, что перед ним лес из белесых деревьев или грибов-исполинов, никогда не видевших солнца.

Нет, в самом деле лес... Из белой восковой пены торчали сотни тонких стволов, правда, торчали что-то уж очень густо, просветов почти не видно. А может быть, не лес это, а одно огромное дерево. Что-нибудь вроде восточного баньяна, известного множеством дополнительных стволов. На Яве Фолкен однажды видел баньян, под сенью которого можно было пройти по прямой шестьсот метров. Но это чудовище раз в десять больше!

Темнело. Отраженные солнечные лучи окрасили облачный ландшафт в пурпурный цвет. Еще несколько секунд, и все поглотит мрак. Но в свете угасающего дня — своего второго дня на Юпитере — Фолкен успел увидеть нечто такое, что заставило его усомниться, справедливо ли сравнивать белесый овал с деревом.

Если только слабое освещение его не обмануло, все эти сотни стволов качались в лад туда и обратно, будто колеблемые прибором водоросли.

И главное — «дерево» передвигалось.

— Жаль тебя огорчать, — сообщил Центр управления вскоре после захода Солнца, — но похоже, что через час можно ждать извержения Беты. Вероятность семьдесят процентов.

Фолкен бросил взгляд на карту. Бета находилась на сто сороковом градусе юпитерианской широты, почти в тридцати тысячах километров от него, далеко за горизонтом. И хо-

тя мощность взрывных извержений этого источника достигала десяти мегатонн, на таком расстоянии ударная волна не грозила ему серьезными неприятностями. Иное дело радиобура.

Десятиметровые всплески, благодаря которым Юпитер временами становился самым мощным источником радиоизлучения на всем звездном небе, были открыты уже в 1950-х годах и вызвали немалый переполох среди астрономов. И теперь, больше ста лет спустя, причина их оставалась загадкой. Симптомы известны, а диагноза нет.

Самой живучей оказалась вулканическая гипотеза, при этом все понимали, что на Юпитере слово «вулкан» обозначает нечто совсем другое, чем на Земле. В нижних слоях юпитерианской атмосферы, может быть, даже на самой поверхности планеты, то и дело — иногда по нескольку раз в день — происходили сильнейшие извержения. Огромный столб газа, высотой больше тысячи километров, устремлялся вверх так, словно вознамерился улететь в космос.

Конечно, поле тяготения величайшей из планет солнечной системы не отпускало его. Но часть столба — от силы несколько миллионов тонн — обычно достигала ионосферы. Тут-то и начиналось...

Земные пояса Ван Аллена — жалкие карлики перед радиационными поясами Юпитера. И когда газовый столб устраивает короткое замыкание, возникает электрический разряд в миллионы раз мощнее любой земной молнии. «Гром» от этого разряда — в виде радиоизлучений — раскатывается по всей солнечной системе и за ее пределами.

Было обнаружено четыре основных центра радиоизлучения на Юпитере. Возможно, поверхность в этих местах обладает какими-то свойствами, которые позволяют раскаленному веществу сердцевины прорываться наружу. Ученые на Ганимеди, крупнейшем спутнике Юпитера, брались даже предсказывать десятиметровые всплески. Их прогнозы были такими же надежными, как прогнозы погоды на Земле в начале двадцатого века...

Фолкен не знал, бояться радиобури или радоваться ей. Ведь он сможет сделать ценнейшие наблюдения. Если останется жив. Весь маршрут был рассчитан так, чтобы «Кон-Тики» находился возможно дальше от главных очагов излучения, особенно самого беспокойного из них — центра Альфа. Но случай захотел, чтобы сейчас проявил свой нрав ближайший очаг — Бета. Оставалось надеяться, что расстояние, равное трем четвертям земной окружности, все же предохранит его...

— Вероятность девяносто процентов, — прозвучал взволнованный голос из Центра. — И забудь слова «через час». Ганимед передает: извержения можно ждать с минуты на минуту.

Не успел оператор договорить, как кривая на приборе, измеряющем напряженность магнитного поля, полезла вверх. Не доходя края шкалы, она повернула и так же быстро пошла вниз. Далеко-далеко что-то всколыхнуло жидкое ядро планеты.

— Вот оно! — крикнуло радио.

— Спасибо, я уже заметил. Когда буря дойдет до меня?

— Первые признаки жди через пять минут. Пик — через десять.

Где-то за дугой юпитерианского горизонта столб газа шириной с Тихий океан устремился к космосу со скоростью тысячи километров в час. В нижних слоях атмосферы уже бушевали грозы, но это было ничто перед тем, что разразится, когда радиационные пояса обрушат на планету избыточные электроны. Фолкен принялся убирать штанги с наружными приборами. Единственная мера предосторожности, которую он мог принять. Атмосферная ударная волна дойдет до него через четыре часа, но радиоизлучение достигнет его через десятую долю секунды, когда произойдет разряд.

Радиомонитор прощупал весь спектр частот, но обнаружил лишь обычный фон беспорядочных помех. А затем Фолкен заметил, что уровень шумов медленно возрастает. Мощь извержения увеличивалась.

Он не ожидал, что при таком расстоянии что-нибудь увидит, однако внезапно вдоль восточного горизонта заплескали отблески далеких сполохов. Одновременно сработала половина автоматических предохранителей, погасли лампы, смолкли все каналы связи.

Фолкен хотел пошевелиться — не мог. Это было не только психологическое оцепенение, конечности не слушались его, и что-то больно кололо все тело. Казалось невозможным, чтобы электрические заряды могли проникнуть в изолированную кабину, и, однако, приборная доска излучала призрачное сияние, а слух Фолкена уловил характерный треск коронного разряда.

Очередь резких щелчков возвестила, что сработала аварийная система. Она нейтрализовала перегрузки, снова загорелись лампочки, и оцепенение прошло так же быстро, как возникло.

Убедившись, что все приборы опять работают нормально, Фолкен живо повернулся к иллюминатору.

Ему не надо было включать контрольный свет — тросы, на которых висела капсула, словно горели. От кольца к экватору гигантского шара тянулись во мраке яркие голубые струи электричества. И вдоль этих струй катились ослепительные огненные шары.

Картина была до того чарующей и необычной, что не хотелось думать об опасности. Мало кто наблюдал так близко шаровые молнии. И ни один из тех, кто встречался с ними в земной атмосфере, паря на воздушном шаре, наполненном водородом, не остался жив. Перед внутренним взором Фолкена в который раз пробежали страшные кадры старой кинохроники — гибель дирижабля «Гинденбург», подожженного случайной искрой при посадке в Лэйкхерсте в 1937 году. Но здесь такая катастрофа исключена, хотя в оболочке над головой Фолкена было больше водорода, чем в том цепелине. Пройдет не один миллиард лет, прежде чем кто-нибудь сможет развести огонь в атмосфере Юпитера.

Послышался треск, словно жарили сало на сковороде, — это ожил канал микрофонной связи.

— Алло, «Кон-Тики», ты слышишь нас? «Кон-Тики», ты слышишь?

Слова были сильно искажены и будто изрублены, но понять можно. Фолкен повеселел. Контакт с миром людей восстановлен...

— Слышу... — ответил он. — Великолепный электрический спектакль — и никаких повреждений. Пока.

— Спасибо. Мы уже думали, что потеряли тебя. Будь другом, проверь телеметрические каналы третий, седьмой и двадцать шестой. Потом второй камеры. И нас что-то смущают показания измерителей ионизации...

Фолкен неохотно оторвался от пленительного фейерверка вокруг «Кон-Тики». Все же изредка он поглядывал в иллюминаторы. Первыми пропали шаровые молнии — они росли в объеме и взрывались, достигнув критической величины. Но еще и час спустя все металлические части на внешней оболочке капсулы продолжали светиться. А радио продолжало потрескивать половину ночи.

В оставшиеся до утра часы все было спокойно. Лишь перед самым восходом на востоке появилось какое-то зарево, и Фолкен сначала принял его за утреннюю зарю, но потом сообразил, что до зари еще минут двадцать. К тому же зарево приближалось к нему. Сравнительно узкая, четко ограниченная полоса... Казалось, в небе под облаками шарит луч исполненного прожектора.

Километрах в ста за первым лучом появился второй, он летел параллельно ему с той же скоростью. А за вторым еще один, и еще, и еще... И вот уже все небо расписано полосами света и тьмы!

Чудеса уже перестали быть неожиданностью для Фолкена, и он не представлял себе, чтобы эти беззвучные переливы холодного света чем-то ему угрожали. Но зрелище было таким поразительным и таким непостижимым, что ледящий страх проник в его душу, подтачивая самообладание. Какой человек не почувствовал бы себя жалким пигмеем перед лицом столь могучих и непонятных сил... Может быть, на Юпитере все-таки есть не только жизнь, но и разум? И теперь этот разум наконец-то начинает реагировать на вторжение постороннего?

— Да, видим. — В голосе из Центра звучал отголосок того же страха, который владел Фолкеном. — Никакого понятия, что это может быть. Будь наготове, вызываем Ганмед.

Феерия медленно угасала. Каждая новая полоса, выходящая из-за горизонта, была намного бледнее предыдущих, энергия их явно истощалась. Еще через пять минут все было кончено. Последний слабый отблеск пропал за горизонтом на западе. И сразу Фолкен ощутил огромное облегчение. Невозможно было долго созерцать такое завораживающее и пугающее зрелище без ущерба для душевного покоя...

Фолкен сам себе не хотел признаваться, как сильно он

потрясен. Радиобурю еще как-то можно понять, но это... Это было нечто совершенно непостижимое.

Центр управления молчал. Фолкен знал, что сейчас идет лихорадочная работа в информационном центре на Ганимеде, люди и электронные машины стараются решить проблему. Не найдут ответа, придется запросить Землю, что означает задержку почти на час. А если и Земля не сумеет помочь? Нет, о таком варианте лучше не думать.

И когда Центр управления снова вышел в эфир, Фолкен обрадовался ему так, как еще никогда не радовался. Говорил доктор Бреннер, говорил с явным облегчением, хотя и несколько глухо, как человек, только что переживший серьезную встряску.

— Алло, «Кон-Тики»! Мы решили проблему, но до сих пор как-то не верится... То, что ты наблюдал, — биолюминесценция, очень похожая на свечение микроорганизмов в тропических морях Земли. Правда, здесь мы видим ее в атмосфере, но принцип один и тот же.

— Но рисунок! — возразил Фолкен. — Рисунок был такой правильный, совсем искусственный. И полосы тянулись на сотни километров!

— Даже больше, чем ты можешь себе представить. Тебе было видно лишь малую часть. Вся эта штука достигала в ширину пяти тысяч километров и напоминала вращающееся колесо. Ты видел только спицы этого колеса, они пронеслись со скоростью около километра в секунду...

— В секунду! — невольно воскликнул Фолкен. — Никакое животное не может развить такую скорость!

— Конечно, не может. Я сейчас объясню. Ты наблюдал явление, которое было вызвано ударной волной от очага Бета, а эта волна перемещалась со скоростью звука.

— А рисунок? — не унимался Фолкен.

— Немудрено, что он тебя так удивил, ведь речь идет о редчайшем явлении. Но такие световые колеса, только в тысячу раз меньше, наблюдались в Персидском заливе и Индийском океане. Вот послушай запись о наблюдении, которое было сделано с британского торгового судна «Патна» в мае 1880 года в Персидском заливе: «Огромное светящееся колесо вращалось так, что спицы его, казалось, задевали судно. Длина спиц составляла метров двести-триста... Всего в колесе было около шестнадцати спиц...» А вот сообщение от 23 мая 1906 года, дело происходило в Оманском заливе: «Яркое сияние быстро приближалось к нам, излучая в западном направлении четко ограниченные лучи, напоминающие лучи прожекторов военного корабля... Слева от нас образовалось огромное огненное колесо, его спицы терялись вдаль. Колесо это продолжало вращаться две или три минуты...» ЭВМ на Ганимеде раскопала в архиве около пятисот случаев и принялась все выписывать, да мы ее остановили.

— Ладно, вы меня убедили, но все равно я ничего не понимаю.

— Еще бы... Полностью объяснить это явление удалось только в конце двадцатого века. Судя по всему, светящие-

ся колеса образуются при землетрясениях на дне моря, причем всегда на мелких местах, где ударные волны отражаются и получается устойчивый узор — когда балки, когда вращающиеся колеса. Кстати, их называли колесами Посейдона. Эта гипотеза была окончательно доказана, когда произвели взрывы под водой и сфотографировали результат со спутника. Недаром моряки склонны к суеверию... Кто бы подумал, что такое возможно!

«Да, очевидно, так оно и было, — сказал себе Фолкен. — Когда произошло извержение в центре Бета, во все стороны пошли ударные волны — и через сжатый газ в нижних слоях атмосферы, и через более плотное тело самого Юпитера. Эти волны встречались, перекрещивались, здесь взаимно уничтожались, там усиливали друг друга... Должно быть, вся планета вибрировала, словно колокол».

Но чувство удивления и ужаса не проходило. Никогда ему не забыть этих развевающихся световых лент, которые вырвались из недостижимых глубин юпитерианской атмосферы. У Фолкена было такое ощущение, будто он находится не просто на чужой планете, а в магическом царстве на грани мифа и действительности.

Поистине в этом мире может произойти все, что угодно. И ни один человек не в состоянии угадать, что принесет завтрашний день.

А ведь у него и впрямь еще целый день впереди...

## 6

Когда наконец рассвело по-настоящему, погода внезапно переменялась. «Кон-Тики» летел сквозь буран. Хлопья воска падали так густо, что видимость сократилась до нуля. Фолкен с тревогой думал о том, как оболочка выдержит дополнительный груз, пока не заметил, что хлопья, лежащие на иллюминаторы снаружи, быстро исчезают. От выделяемого «Кон-Тики» тепла воск тут же таял.

Если бы полет происходил на Земле, Фолкену следовало бы опасаться столкновения. Здесь можно было не бояться этого, все горы Юпитера находились в сотнях километров под ним. Что до плавучих островов, то врезаться в них было бы примерно то же, что налететь на слегка отвердевшие мыльные пузыри.

Тем не менее Фолкен включил горизонтальный радар, которым до сих пор не пользовался, ограничиваясь вертикальным лучом, чтобы определять расстояния до невидимой поверхности планеты. И сразу же его ожидал новый сюрприз.

В широком секторе неба перед ним были разбросаны десятки больших, отчетливых эхо-сигналов. Они были совершенно изолированы друг от друга и словно висели в воздухе. Фолкен припомнил, как первые воздухоплаватели в ряду угрожавших им опасностей называли «облака, начиненные камнями». Здесь это выражение было бы в самый раз.

Фолкен забеспокоился, но тут же сказал себе, что в этой



атмосфере не могут парить никакие твердые предметы. Скорее всего какое-нибудь своеобразное метеорологическое явление... К тому же до ближайшей цели было около двухсот километров.

Он доложил о своем наблюдении в Центр управления. Центр не смог помочь ему с расшифровкой эхо-сигнала, но утешил сообщением, что через полчаса он выйдет из бурана. Однако его не предупредили о сильном боковом ветре, который вдруг подхватил «Кон-Тики» и понес его почти под прямым углом к прежнему курсу. Возможности управлять воздушным шаром были невелики, и от Фолкена понадобилось все его умение, чтобы не дать неуклюжему аппарату опрокинуться. Несколько минут он мчался на север со скоростью свыше пятисот километров в час. Потом турбулентность прекратилась так же внезапно, как родилась. Уж не нарвался ли он на юпитерианское струйное течение?

Тем временем буран угомонился, и Фолкен увидел, что еще для него припас Юпитер.

«Кон-Тики» очутился в огромной вращающейся воронке шириной около тысячи километров. Шар несло вдоль изогнутой стены облаков. Над головой Фолкена в ясном небе светило Солнце, внизу воронка ввинчивалась в атмосферу до неизведанных мгlistых глубин, где почти непрерывно сверкали электрические разряды. Хотя шар опускался так медленно, что никакой непосредственной угрозы не было, Фолкен увеличил подачу тепла в оболочку и уравнил аппарат. После чего заставил себя оторваться от фантастических картин за иллюминатором и снова обратился к радару.

Теперь до ближайшей цели было километров сорок. Он быстро убедился, что все цели привязаны к стенам воронки и вращаются вместе с ней — очевидно, их, как и «Кон-Тики», подхватило течением. Наведя телескоп в направлении, указанном радаром, Фолкен увидел странное крапчатое облако.

Хотя оно заполнило почти все поле зрения, рассмотреть его было трудно — облако лишь немногим отличалось по цвету от вращающегося туманного фона. И только через несколько минут Фолкен сообразил, что один раз уже видел такое облако.

В тот раз оно ползло по склону пенной горы, и он принял его за исполинское дерево с множеством стволов. Теперь ему представилась возможность точно определить его размеры и строение. И подобрать название, лучше всего отвечающее его облику. И вовсе не на дерево оно похоже, а на медузу... Ну конечно, на медузу из тех, которые медленно плывут в теплых струях Гольфстрима, волоча за собой длинные щупальца.

Но эта медуза достигала больше полутора километров в поперечнике. Десятки щупальцев стометровой длины покачивались в лад туда и обратно. На каждый взмах уходила минута с лишним. Казалось, эта тварь тяжело идет на веслах по небу.

Остальные, более удаленные цели тоже были медузами. Фолкен навел телескоп на одну, на другую, на третью...

Никакой разницы ни в форме, ни в величине. Очевидно, все они представляли один вид. Но почему медузы так безвольно вращаются по тысячекilометровому кругу? Может быть, кормятся воздушным планктоном, который засосало в воронку так же, как и «Кон-Тики»?

— Ты подумал, Говард, — заговорил доктор Бреннер, придя в себя от удивления, — что эти создания примерно в сто тысяч раз больше самого крупного кита? Даже если это всего-навсего мешок с газом, он весит около миллиона тонн! Как происходит у него обмен веществ, выше моего разумения. Этому животному, чтобы парить, нужно производить мегаватты энергии.

— Но если это лишь мешок с газом, почему он так хорошо лоцируется?

— Не имею ни малейшего представления. Ты можешь подойти ближе?

Это был не праздный вопрос. Изменяя высоту и используя разницу в скорости ветра, Фолкен мог приблизиться к медузе на любое расстояние. Впрочем, пока что он предпочитал сохранять дистанцию сорок километров, о чем и заявил достаточно категорически.

— Я тебя понимаю, — неохотно согласился Бреннер. — Ладно, и на том спасибо.

«Спасибо»... Хорошо ему рассуждать там, за сто тысяч километров от места действия.

Следующие два часа «Кон-Тики» продолжал вращаться в том же темпе вместе с воронкой. Фолкен испытывал разные фильтры, изменял фокусное расстояние, чтобы получить возможно более четкие снимки медузы. Может быть, эта неопределенная окраска — камуфляж? Медуза, подобно многим земным животным, старается слиться с фоном? К такому приему прибегает и охотник, и тот, на кого охотятся...

К какому разряду принадлежит медуза? За то короткое время, которое осталось в его распоряжении, он вряд ли получит ответ.

Но Фолкен ошибался — ответ последовал около полудня, последовал вдруг.

Словно эскадрилья реактивных истребителей старого типа, из тумана по краям воронки вынырнули пять «мант». Они шли плугом прямо на белесое облако медузы. Не приходилось сомневаться, что речь идет о преднамеренной атаке. Фолкен ошибся, приняв «мант» за безобидных растительноядных животных.

Правда, действие развивалось так неспешно, будто он смотрел замедленное кино. Мерно взмахивая крыльями, «манты» летели со скоростью от силы пятьдесят километров в час. Казалось, не одно столетие прошло, пока они достигли медузу, идущую еще более тихим ходом, чем «манты». При всей огромной величине они выглядели маленькими перед чудовищем, к которому приближались. Когда «манты» опустили на спину медузы, они были что птицы на спине кита.

Сумеет ли медуза защититься? Кроме этих длинных ма-



лоподвижных щупальцев, «мантам» вроде бы нечего опасаться. А может быть, медуза их даже и не замечает, как собака порой не замечает паразитирующих на ней блох.

Да нет, ей явно что-то не по нраву! Медуза начала крениться, медленно и неотвратно, словно погибающий корабль. Через десять минут крен достиг сорока пяти градусов. Одновременно медуза теряла высоту. Нельзя было не сочувствовать атакованному чудовищу. К тому же картина эта вызвала у Фолкена горькие воспоминания. Падение медузы выглядело гротескной пародией на последние минуты «Куин» после аварии.

А ведь на самом-то деле он должен бы сочувствовать другой стороне. Активный разум может развиваться только у хищников, а не у тех животных, которые лениво пасутся в морских или воздушных угодьях. «Манты» ему намного ближе, чем этот чудовищный мешок с газом. И вообще, можно ли по-настоящему симпатизировать существу, в сто тысяч раз превосходящему размерами кита?

И ведь тактика медузы, кажется, возымела действие... Ее маневр пришелся «мантам» не по нраву, и они тяжело взлетели, будто сытые стервятники, вспугнутые в разгар пиршества. Правда, они не стали особенно удаляться, а повисли в нескольких метрах от чудовища, которое продолжало валиться на бок.

Внезапно Фолкен увидел ослепительную вспышку, одновременно послышался треск в приемнике. Одна из «мант» медленно перевернулась и рухнула вниз. За ней тянулся шлейф дыма.

В ту же минуту остальные «манты» спикировали, уходя от медузы. Теряя высоту, они набрали скорость и быстро пропали за облаками, из которых явились. А медуза сперва остановилась, потом не спеша выровнялась и как ни в чем не бывало возобновила прежнее движение.

— Здорово! — нарушил напряженную тишину голос доктора Бреннера. — Электрическая защита, как у наших угрей и скатов. С той разницей, что в этом заряде был миллион вольт! Тебе не видно никаких органов, которые могли бы дать такую искру? Что-нибудь вроде электродов?

— Нет, — ответил Фолкен, прильнув к телескопу. — Но вот что странно... Видишь узор? Сравни с предыдущими снимками. Я уверен, что этого узора не было.

На боку медузы появилась широкая пятнистая полоса. Будто кусок шахматной доски, но каждая клетка, в свою очередь, была расписана сложным узором из горизонтальных черточек. Они располагались на равном расстоянии друг от друга, образуя одинаковые колонки.

— Ты прав, — произнес доктор Бреннер с благоговением в голосе. — Только что появился. И я даже не решаюсь поделиться с тобой своей догадкой.

— Ладно, я же не боюсь за свою репутацию. Во всяком случае, биологи меня не заклюют. Сказать, что я думаю?

— Говори.

— Это антенное устройство для метровых волн. Такими пользовались в двадцатом веке.

— Я боялся, что ты это скажешь... Теперь понятно, откуда такое сильное эхо.

— Но почему узор появился только теперь?

— Вероятно, это связано с разрядом.

— А знаешь, что мне сейчас пришло в голову? — медленно произнес Фолкен. — Ты не допускаешь, что чудовище слушает наш разговор?

— На этой частоте? Вряд ли. Это же метровые — нет, даже десятиметровые антенны, судя по их размерам... А что, в самом деле!

Доктор Бреннер умолк, ему явно пришла в голову какая-то новая мысль. Наконец он опять заговорил:

— Бьюсь об заклад, они настроены на радиобури! На Земле природа не сумела этого добиться. У нас есть животные с экзолотом, даже с органами чувств, воспринимающими электричество. Но радиоволны никто не воспринимает. Да и к чему это, когда предостаточно света! Но здесь другое дело, Юпитер весь пропитан радиоизлучениями. Эту энергию можно усваивать, использовать... Кто знает, может быть, перед тобой плавучая электростанция!

В разговор вмешался новый голос:

— Говорит руководитель полета. Все это очень интересно, однако сперва следует решить гораздо более важный вопрос. Можно ли считать это существо разумным? В таком случае нам не мешает вспомнить директивы о первом контакте.

— До того, как я попал сюда, — сдержанно отозвался доктор Бреннер, — я мог бы поклясться, что антенное устройство для коротких волн может создать только разумное существо. Теперь я в этом не уверен. Возможно, перед нами результат естественной эволюции. И, строго говоря, такое устройство не удивительнее человеческого глаза.

— Ясно... На всякий случай согласимся считать это существо разумным. Следовательно, экспедиция должна строго придерживаться всех положений директив о контакте.

Наступила тишина, все соображали, что из этого следует. Впервые в истории космонавтики пришла, похоже, пора применить правила, разработанные за сто с лишним лет. Человек извлек урок из ошибок, совершенных им на Земле. Не только моральные, но и чисто практические соображения требовали, чтобы эти ошибки не повторялись на других планетах. Обращаться с непонятным так, как американские поселенцы обращались с индейцами, как европейцы обращались с африканцами, — не миновать катастрофы...

Первое правило гласило: держись поодаль. Не пытайся приблизиться или хотя бы наладить общение, пока «они» не получат возможность как следует изучить тебя. Сколько времени должно длиться это «пока», никто не мог сказать. Решать этот вопрос предоставлялось непосредственно участнику контакта.

На плечи Говарда Фолкена легла ответственность, о какой он никогда не помышлял. В те немногие часы, что он

еще проведет на Юпитере, ему, быть может, суждено стать первым полномочным представителем человечества.

Ирония судьбы — да такая, что дальше ехать некуда. Он даже пожалел, что хирурги не смогли вернуть ему способность смеяться.

## 7

Начало темнеть, но все внимание Фолкена было сосредоточено на живом облаке в поле зрения телескопа. Ветер, несущий «Кон-Тики» по окружности исполинской воронки, сократил до двадцати километров расстояние между ним и медузой. Если он приблизится еще на десять километров, настанет пора принимать меры предосторожности. Хотя Фолкен был уверен, что оружие медузы поражает только вблизи, его не тянуло проверять, так ли это. Пусть этой проблемой займутся будущие исследователи.

Внезапно с поразительной силой раздался звук, который он уже слышал в юпитерианской ночи, словно вибрирующие удары пульса. Чаше, чаше — вся капсула вибрировала, будто горошина в литаврах, — и вдруг оборвался...

В напряженной тишине две мысли одновременно пришли в голову Фолкена.

На этот раз звук дошел до него не за тысячи километров и не по волнам радио — он пронизывал атмосферу вокруг «Кон-Тики».

Вторая мысль была еще более тревожной. Фолкен совсем забыл — непростительно, но ведь голова его была занята другими вещами, которые казались важнее, — что большая часть неба над ним закрыта газовой оболочкой аппарата. А ведь посеребренный для теплоизоляции шар непроницаем не только для глаза, но и для радара...

Все это он знал — знал о небольшом изъяне, с которым мирлись, не придавая ему особого значения. Но сейчас изъян этот показался Говарду Фолкену очень серьезным.

Он увидел, как сверху на капсулу надвигается частокол огромных, толще любого дерева, щупальцев...

Послышался возбужденный голос Бреннера:

— Не забывай о директивах! Не раздражай его!

Раньше, чем Фолкен успел придумать подходящий ответ, все прочие звуки потонули в могучей барабанной дробе.

По-настоящему искусство пилота-испытателя проверяется не в таких аварийных ситуациях, которые можно предсмотреть, а в таких, возможность которых никому даже в голову не приходила. Фолкену на анализ ситуации понадобилось меньше секунды, затем он молниеносно дернул разрывной клапан.

На самом деле термин этот был пережитком старины — оболочка «Кон-Тики» вовсе не разорвалась, просто открылись клапаны в ее верхней половине. Нагретый газ устремился через них наружу, и «Кон-Тики», теряя подъемную силу, начал быстро падать в поле тяготения.

Чудовищные щупальца ушли вверх и пропали. Фолкен успел заметить, что они усеяны большими пузырями или

мешками — очевидно, для плавучести — и заканчиваются множеством тонких усиков.

Стремительное падение замедлилось в более плотных слоях атмосферы, где оболочка стала играть роль парашюта. Пролетев по вертикали около трех километров, Фолкен решил, что можно спокойно закрывать клапаны. Пока он восстановил подъемную силу аппарата и уравнивал его, было потеряно еще около полутора километров высоты, дальше опускаться было бы опасно.

Неспокойно поглядел он в верхний иллюминатор, хотя был уверен, что увидит только округлость шара. Однако при падении «Кон-Тики» немного отнесло в сторону, и далеко вверх Фолкен увидел край медузы. Впрочем, не так далеко, как хотелось бы... И медуза быстро опускалась вдогонку за ним — он даже не ожидал, что она способна развить такую скорость.

Радио донесло тревожный вызов Центра управления.

— У меня все в порядке! — прокричал в ответ Фолкен. — Но эта тварь продолжает меня преследовать, а мне больше некуда опускаться.

К великому своему облегчению, Фолкен обнаружил, что в полутора километрах над ним медуза перешла на планирующий полет. То ли решила быть поосторожнее с этим незнакомым существом, то ли ей была не по нраву высокая температура — градусник показывал больше пятидесяти по Цельсию в окружающей атмосфере.

Опять послышался голос Бреннера. Экзобиолога по-прежнему беспокоило соблюдение директивы о первом контакте.

— Учти, это может быть простое любопытство! — кричал он, правда, без особой уверенности. — Не вздумай ее пугать!

Фолкена уже начали раздражать все эти наставления, ему вспомнилась одна телевизионная дискуссия с участием специалиста по космическому праву и астронавта. Терпеливо выслушав все, что говорилось о контактных директивах и вытекающих из них последствиях, озадаченный астронавт воскликнул:

— Стало быть, если не будет другого выхода, я должен спокойно сидеть и ждать, когда меня сожрут?

На что юрист без тени улыбки ответил:

— Вы очень точно схватили суть вопроса.

Тогда это звучало забавно. Тогда, но не теперь.

А в следующую секунду Фолкен увидел нечто такое, что еще больше омрачило его настроение. Медуза по-прежнему парила в полутора километрах над ним, но одно ее щупальце невероятно удлинилось и, утончаясь на глазах, тянулось к «Кон-Тики».

— У меня скоро не останется альтернатив, — доложил он Центру управления. — Остается одно из двух: либо напугать эту тварь, либо вызвать у нее несварение желудка. Полагаю, ей нелегко будет переварить «Кон-Тики», если она собралась плотно поужинать.

Он ждал, что скажет на это Бреннер, но экзобиолог молчал.

— Ну хорошо... У меня еще осталось двадцать семь минут, но я включаю программу запуска. Надеюсь, хватит горючего, чтобы потом откорректировать траекторию.

Медуза пропала из виду, она опять была точно над аппаратом. Но Фолкен знал, что щупальце вот-вот дотянется до шара. А чтобы реактор развил полную мощность, нужно пять минут...

Но вот что плохо — воспламенитель рассчитан на другую высоту. Вот было бы километров на десять повыше, где на тридцать градусов холоднее и плотность атмосферы в четыре раза меньше...

При каком угле падения в диффузоре будет достаточно высокое давление, чтобы заработал двигатель? И следующий вопрос: сумеет ли он вовремя выйти из пике, если учесть, что в момент зажигания, помимо реактивной тяги, его будут увлекать к поверхности планеты два с половиной G юпитерианского тяготения?

Большая тяжелая рука погладила шар. Весь аппарат закачался вверх-вниз.

Конечно, не исключено, что Бреннер прав, эта тварь не замышляет ничего дурного. Попробовать обратиться к ней по радио? Что ей сказать? «Ах ты кисонька славная»? «На место, Трезор»? Или: «Проводите меня к вашему вождю»?

Соотношение тритий — дейтерий в норме... Можно поджигать смесь спичкой, дающей тепло в сто миллионов градусов.

Тонкий конец щупальца обогнул шар и заболтался метрах в пятидесяти от иллюминатора. Он был толщиной с хобот слона — и такой же чувствительный, судя по осторожности, с какой он ощупывал окружающее. На самом конце — усики. Да, сюда бы сейчас доктора Бреннера...

Ну что ж, больше ждать не стоит. Фолкен обвел взглядом приборную доску, пустил механизм воспламенителя, рассчитанный на четырехсекундный интервал, сорвал предохранительную крышку и нажал кнопку «СБРОС».

Небольшой взрыв... Внезапное ощущение невесомости... «Кон-Тики» падал носом вниз. Над ним освобожденная от груза оболочка устремилась вверх, увлекая за собой пыливое щупальце. Фолкен не успел проследить, столкнулась ли она с медузой, потому что в эту секунду заработал ВРД и надо было думать о другом.

Ревущая струя горячей гелие-водородной смеси вырвалась из выходного сопла, придавая капсуле ускорение в сторону Юпитера. Фолкен не мог изменить курс, пока скорость не достигнет такой величины, когда начнут работать воздушные рули. Но если через пятьдесят секунд он не выведет «Кон-Тики» из пике, капсула чересчур углубится в нижние слои атмосферы и будет разрушена.

Мучительно медленно — пятьдесят секунд показались ему пятьюдесятью годами — аппарат вышел из пике. А затем Фолкен повернул его носом вверх. Оглянувшись назад, он в последний раз увидел вдалеке медузу. Оболочку шара не было видно — вероятно, выскользнула из щупалец.

Теперь Фолкен снова был сам себе хозяин, он больше не



дрейфовал по воле ветров Юпитера, а возвращался в космос, оседлав атомное пламя. ВРД позволит ему набрать нужную скорость и высоту и выйти на рубеж атмосферы, а там он перейдет на ракетный режим и вырвется на космические просторы.

На полпути к орбите Фолкен посмотрел на юг и увидел всплывающую над горизонтом великую загадку — «красное пятно», плавучий остров, вдвое превосходящий площадь земной шар. И неохотно оторвал от него взгляд лишь после того, как ЭВМ предупредила, что до перехода на ракетную тягу осталось всего шестьдесят секунд.

— В другой раз, — пробормотал Фолкен.

— Что-что? — встрепенулся Центр управления. — Ты что-то сказал?

— Да нет, ничего, — отозвался он.

## 8

— Теперь ты у нас герой, Говард, а не просто знаменитость, — сказал Вебстер. — Дал людям пищу для размышлений, для фантазии. Хорошо, если один из миллионов сам побывает на далеких гигантах, но мысленно все человечество посетит их. А это чего-то стоит.

— Я рад, что хоть немного облегчил тебе работу.

Старые друзья могут позволить себе не обращать внимания на иронический тон. И все-таки он удивил Вебстера. К тому же это была не первая новая черточка, которой поразил его Говард после возвращения с Юпитера.

Вебстер показал на знаменитую дощечку на своем письменном столе с призывом, заимствованным у одного импресарио прошлого века: «Удивите меня!»

— Я не стыжусь своей работы. Новое знание, новые ресурсы — все это необходимо. Но человек, кроме того, нуждается в свежих впечатлениях и приключениях. Космические полеты успели стать чем-то обычным. Благодаря тебе они снова окружены ореолом большой романтики. Юпитер еще не скоро станет в ряд заурядных, хорошо изученных объектов. Не говоря уже об этих медузах. Я вот почему-то уверен, что твоя медуза знала, где у тебя слепое пятно. Кстати, ты уже решил, куда полетишь в следующий раз? Сатурн, Уран, Нептун — выбирай, что по вкусу.

— Не знаю. Я думал о Сатурне, но там и без меня можно обойтись. Всего один G, а не два с половиной, как на Юпитере. Так что на Сатурне и человек справится.

«Человек... — сказал себе Вебстер. — Он говорит «человек»... А разве его мозг, вся его жизнь, и настоящая и будущая, не человеческие? Но сейчас с ним не время спорить...»

— Ладно, — произнес он вслух и встал, чтобы скрыть свое замешательство. — Пора начинать встречу. Камеры установлены, все ждут. Ты увидишь много старых друзей.

Вебстер сделал ударение на последних словах, но не за-

метил никакой видимой реакции. Эту кожаную маску — свое лицо — Говард еще будет носить долго...

Фолкен отъехал назад от стола, переключил свой лафет, убирая сиденье, и выпрямился на заменяющих ноги гидравлических опорах. Два метра десять сантиметров. Фолкен усмехнулся про себя: хирурги знали, что делали, прибавив ему тридцать сантиметров роста. Небольшая компенсация за все то, что он потерял при аварии «Куин».

Вебстер открыл дверь, после этого Фолкен аккуратно развернулся на пневматических шинах и бесшумно направился к ней со скоростью тридцати километров в час. Он вовсе не щеголял быстротой и точностью своих маневров, у него это получалось бессознательно.

«Я, Говард Фолкен, — подумал он, — который был когда-то человеком и которого по телефону или по радио по-прежнему можно принять за человека, спокойно пожиная плоды своей победы. И вот впервые за много лет я обрел что-то вроде душевного равновесия. После возвращения с Юпитера кошмары прекратились, моя роль окончательно определена. Теперь я знаю, почему во сне мне являлся супершимпанзе с погибающей «Куин Элизабет». Не человек, не зверь, существо на грани двух миров... Теперь и обо мне можно сказать то же самое».

Только он мог без скафандра передвигаться по поверхности Луны. Система жизнеобеспечения в металлическом цилиндре, заменившем ему брэнное тело, одинаково надежно действовала в космосе и под водой. В поле тяготения, в десять раз превосходящем силой земное, ему не совсем уютно, но и только. А лучше всего невесомость...

Он все больше отдалялся от человечества, все слабее ощущал узы родства. Эти комья непрочных углеводородных соединений, которые дышат воздухом, плохо переносят радиацию, — да им вообще нечего делать за пределами атмосферы, пусть уж сидят в свойственной им среде на Земле. Может быть, еще на Луне и на Марсе.

Настанет день, когда подлинными владыками космоса будут не люди, а машины.

А он, Говард Фолкен, ни то, ни другое...

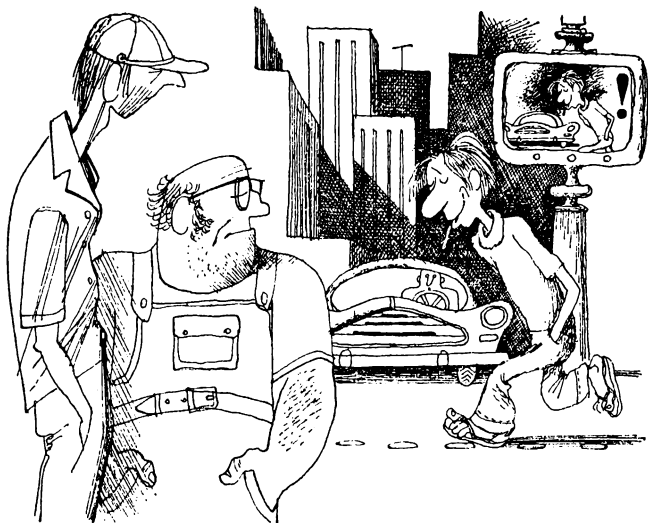
Он вполне осознавал свое предназначение. И устало ощущал угрюмую гордость от сознания своей уникальности — первый бессмертный мостик между органическим и неорганическим мирами.

Да, он будет полномочным представителем, будет посредником между старым и новым, между углеродными организмами и металлическими существами, которые придут им на смену.

И те и другие будут нуждаться в нем в предстоящие беспокойные столетия.

**Перевел с английского Л. ЖДАНОВ**

---



А. С. ТАББ

# ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ГРОВОВЩИКОВ

*Фантастический рассказ*

**Б**ыл знойный летний день, и население Сенте-Форкса (12 057 душ) томилось от жары. С неба донесся и быстро замер вдали гул самолета; в долине, постукивая колесами, мчался на запад поезд. На Мэйн-стрит прожужжало несколько турбокаров, развозивших по клубам домохозяек. В тени лениво почесывалась одинокая дворняга.

В городке Сенте-Форкс царили мир и покой.

— Вот было бы здорово, — с вождением проговорил Эфраим Фингл, взглянув на небо, — если б «Бизнесмен Спешэл» вдруг сбился с курса и вмазал в Обсосанный Леденец.

На борту самолета «Бизнесмен Спешэл» находилось триста пассажиров, а Обсосанный Леденец был единственной в округе горой.

— Лучше б уж «Серебряная Молния» сошла с рельсов у Морганс-Кроссинга, — с еще большим вожделием сказал Люк Иргард.

Поезд «Серебряная Молния» вез три тысячи пассажиров, а Морганс-Кроссинг был расположен на пять миль ближе к Сенте-Форксу, чем Обсосанный Леденец. Представив себе все последствия такого события, оба мечтательно вздохнули.

На той стороне улицы распахнулась дверь кабачка «У Сэма», и появился Джо Уэстон, городской пьянчужка, который, сильно пошатываясь, побрел к краю тротуара. Только он ступил на мостовую, как в конце улицы возникло расплывчатое красно-зеленое пятно — летящая на полной скорости машина. Заметив напротив, через дорогу, яркий прямоугольник экрана уличного телевизора, Джо заплетающейся походкой устремился к нему. Когда не осталось сомнений, что пути машины и пьяницы должны неизбежно скреститься, Эфраим и Люк напряженно замерли.

— А вдруг? — Эфраим был оптимистом.

— Пустой номер. — Люк был пессимистом, и пессимист Люк окаялся прав.

Защитное поле, как всегда, сработало безотказно. Машина прожужжала мимо. Пьяница, целый и невредимый, поднялся на ноги в том месте, куда его мгновенно переправило защитное поле; с минуту он обалдело раскачивался из стороны в сторону, потом, сориентировавшись, опрометью бросился назад через дорогу. На стук двери кабачка эхом отозвался вырвавшийся у Эфраима вздох разочарования.

— Этому городу, — с глубокой убежденностью произнес Эфраим, — совершенно необходимы настоящие солидные похороны по первому разряду.

— Катафалк в сопровождении пятнадцати автомашин, — сказал Люк — Черных величественных лимузинов.

— Красного дерева гроб ручной работы с серебряной фурнитурой, оббитой изнутри алым шелком.

— Кого бы я с удовольствием похоронил, — свирепо заявил Люк, — так это того посла, как его там?..

— Сигк Геслигк. — Это имя засело в сердце Эфраима, как заноза. — С Ригеля, — добавил он.

— Вот-вот. — Люк аж почернел. — Его б я положил в простой гроб из необтесанных сосновых досок.

— Короткий, не по мерке, — подхватил Эфраим. — И без обивки.

— С оцинкованными ручками. И никаких цветов.

— Без бальзамирования и наемных плакальщиков.

— Ни плакальщиков ему, ни музыки, ни процессии.

— И зарыть его в неосвященной земле за оградой кладбища.

Разговор несколько странный, если принять во внимание, что речь шла о величайшем благодетеле человеческого рода.

Прогресс безжалостен: время от времени кого-нибудь обязательно ставят к стенке, и едва ли тот, кто обречен на это, испытывает удовольствие. Ни Эфраим, ни Люк не отрицали, что взамен утраченного они получили неплохую компенсацию, но они не были бы людьми, если б иногда с болью в душе не вспоминали добрые старые времена. Когда с Ригеля прибыл

Сигк Геслигк и открыл землянам секрет бессмертия, он тем самым нанес смертельный удар благородной уважаемой профессии.

К стенке поставили гробовщиков.

Конечно, иногда еще подвертывалась кое-какая работенка, но разве ее можно было сравнить с тем, что было раньше! Эфраим вздохнул, вспомнив последние похороны, устройством которых занималась их фирма. Любимая собачка миссис Чедуэлл, этот омерзительного вида китайский мопс, впопыхах вместо специально для нее отваренного тощего цыпленка сожрала крысиный яд и после недолгих страданий издохла. Весь город сбегался поглазеть на погребальную церемонию.

Однако как ни прикидывай, а похороны собаки — это совсем не то. Хотя бы потому, что они не вызывают того особого уважения, с которым относятся к похоронам человека, а как Эфраим, так и Люк высоко почитали свою профессию.

— На несчастные случаи рассчитывать не приходится, — сказал однажды Люк, когда они только еще приступили к обсуждению вопроса о слиянии их фирм. — При наличии защитных полей и прочих штук-дрючек, которые спасают от смерти зазевавшихся идиотов, несчастных случаев теперя практически не бывает.

— А самоубийства? — Эфраим напомнил о проверенном аэрами, надежном источнике дохода.

Люк отрицательно покачал головой.

— Нынче люди не впадают в депрессию, — сказал он. — А если и впадают, то не до такой степени, чтобы в этом состоянии покончить с собой. Нет, у нас с вами только один выход — стать компаньонами и все расходы нести пополам. Иначе и вы и я будем вынуждены свернуть дело.

Но, как потом оказалось, эта акция только отсрочила неизбежный крах.

Собака перестала почесываться и отправилась обследовать соседние деревья. Джо Уэстон, шатаясь пуще прежнего, вылез из кабачка и на сей раз ухитрился перейти улицу без ущерба для своего достоинства. Жара спадала, и городок постепенно оживал. Мимо прошла компания подростков, которые с обычной усмешкой покосились на урны, могильные памятники, гробы и венки, выставленные в витрине похоронного бюро.

Прислушавшись к их замечаниям, Люк втянул голову в плечи.

— «Хана им», «крышка», — скорбно поаторил он. — Слышали? Даже сопляки, и те нас теперь не уважают.

— Вурдалаки! — ахнул Эфраим и весь передернулся. — Да меня в жизни никто так не называл!

— Эфраим, — сказал Люк, — наша профессия умерла. Пора взглянуть правде в лицо.

— А если вы все-таки ошибаетесь? — Эфраим не желал сдаваться. — Вдруг это просто временный спад? Может, чума вспыхнет или еще какая эпидемия?

— Никаких шансов, — с горечью сказал Люк. — Мы держались до последнего, Эфраим, но обстоятельства нас доконали. Нам осталось только все распродать и пойти работать на завод пицевых концентратов.

Как это ни было тяжело, но пришла пора расстаться с иллюзиями. Даже Эфраим не мог не согласиться, что надежда на чуму — это воздушный замок. Его очередной вздох прозвучал как свист пронесившегося в небе реактивного лайнера.

— Пожалуй, вы правы, Люк, — уныло проговорил он. — Очень печально, но никуда от этого не денешься. Эх, устроить бы напоследок хоть одни настоящие похороны по первому разряду. — В его глазах сверкнула какая-то новая мысль. — Люк!

— Ну?

— Вы ведь сказали, что наша профессия умерла. Правильно?

— Мы с вами последние из гробовщиков, — изрек Люк. — Когда мы закроем это похоронное бюро, наша профессия перестанет существовать.

— Верно. Но если есть покойник, что с ним обычно делают, а?

— Вы опять за свое?

— Хоронят его, вот что. — Эфраим ликовал. — Теперь поняли, о чем я? Мы с вами устроим еще одну — последнюю — погребальную церемонию на самом высоком уровне и символически похороним нашу профессию. — Тут он обратил внимание на выражение лица Люка. — Вы разве против?

— Против.

— Но почему?

— Да потому, что такую символическую церемонию не воспримут всерьез, отнесутся к ней как к шутке. Вы же слышали тех паршивцев. А представляете, каково нам придется, если мы вздумаем хоронить пустой гроб?

Эфраим представлял.

— Они будут хохотать до колик. — Люк вдруг задумался. — Ну а если гроб не будет пустым? Или никто не узнает, что он пуст?

— К чему вы клоните? — Эфраим уже был не рад, что ему в голову пришла эта дерзкая мысль.

— У меня идея. — Люк несколько раз молча кивнул, разрабатывая в уме план действий. — Мы устроим похороны, но так, что комар носа не подточит. Люди будут думать, что в гробу лежит настоящий покойник. И, веря в это, они отнесутся к похоронам с уважением, а нас с вами никто не поднимет на смех.

— Гениально, — сказал Эфраим. Ему ужас как не хотелось портить настроение своему размечтавшемуся компаньону. — Однако вам не кажется, что вы несколько увлеклись и кое-что упустили из виду? Как мы, к примеру, раздобудем покойника?

— Очень просто. — Люк окинул своего собеседника профессиональным взглядом. — Мы объявим, что вы скончались. Из вас получится отличный покойник.

— А из вас еще лучше.

— Вы старше меня и пользуетесь большой известностью.

— Но идея-то моя, а не ваша, — не уступал Эфраим.

— Бросим жребий, — предложил Люк.

Эфраим проиграл.

Похороны прошли с колоссальным успехом. Это вынужден был признать даже Эфраим. Он был слегка уязвлен тем, что их устройством наслаждался один Люк, но зато он сам выбрал себе гроб, а обилие цветов и венков поражало глаз. Было нанято двадцать плакальщиц и десять носильщиков, школьный оркестр прекрасно исполнил траурный марш из «Саула», и те, кто был знаком с Эфраимом или хотя бы знал его в лицо, а также знакомые его знакомых — все шли за гробом, полные решимости принять участие в этой феерии.

Смертные случаи были столь редки, что производили сенсацию, и Люк, действуя через своего троюродного брата, агента по рекламе, умело использовал прессу и телевидение. Все отели города были забиты до отказа. Владельцы домов, в которых нашлись свободные комнаты, гребли деньги лопатой. Весь мир следил за церемонией, которая транслировалась по глобальному телевидению; полюбоваться этим зрелищем прибыли даже делегации от Ригеля, Веги и ряда других членов Союза Цивилизаций Галактики.

Для Сенте-Форкса это был знаменательный день.

— Пятнадцать заказов, — мурлыкал Люк. — Начиная с дочурки миссис Хоумер, которая хочет, чтобы мы похоронили ее любимую куклу, и кончая Фредом Истербаем, пожелавшим с нашей помощью предать земле свой аппендикс. До сих пор Фред по каким-то соображениям держал его в банке, а теперь вот решил похоронить со всеми почестями.

— Погодите-ка — Эфраим потер воспаленные щеки. Он вместе с остальными участвовал в похоронной процессии, прилепив для маскировки фальшивые бакенбарды, и сейчас страдал от аллергии на клей. — С каких это пор мы пали так низко, что берем за погребение кукол?

— С тех пор, как получили заказы. — Люк деловито взялся за карандаш. — Сейчас посмотрим. У нас есть ореховая доска — ее вполне хватит для гроба — и кусок того белого плюша...

Он сложил несколько цифр, умножил сумму на два, склонив голову, оценил взглядом полученный результат и округлил его.

— Куклу мы потом, конечно, выкопаем. Я учел это в своих расчетах.

— Ничего не понимаю, — сказал Эфраим. — Мы ведь организовали эту церемонию, чтобы символически похоронить нашу профессию. Кристально чистый, благородный конец достойного уважаемого ремесла. А вы мне тут толкуете о потворстве капризам ребенка из богатой семьи. Я был уверен, что после этих похорон наша фирма закроется.

— Я тоже, пока не поступили заказы.

— Это же неэтично.

— Это деньги на банковском счету, — напомнил Люк.

— Деньги — не самое главное в жизни, — ханжеским тоном заявил Эфраим. — Я отказываюсь проституировать свое искусство.

— Вы уже ступили на эту дорожку. Вспомните-ка собачку миссис Чедуэлл.

— Так ведь то было живое существо, которое погибло при трагических обстоятельствах, — возразил Эфраим. — Наша профессия допускала подобные погребения еще до того, как

Сигг Геслигк вонзил нам нож в спину. Другое дело — куклы.

— Почему?

— Это издевательство, вот почему!

— Нельзя издеваться над тем, что не существует. — Люк швырнул в сторону карандаш и откинулся на спинку стула. — Может, вы знаете другой способ избежать банкротства? Ждать заказов на настоящие похороны бесполезно. Их нет и не будет. Люди больше не умирают. И кстати, раз уж пошел такой разговор, не откажите в любезности объяснить, в чем разница между погребением куклы и преданием земле пустого гроба.

— Вы стали другим человеком, — грустно произнес Эфраим. — Это вам успех ударил в голову. Недели две назад вы бы так не рассуждали. Неужели для вас уже ничего не значат традиции нашей профессии?

— Напротив, — не моргнув глазом, ответил Люк. — Однако мне нужна еще пища телесная.

— Но мы ведь договорились, что после этих похорон уйдем от дел. С нашим бизнесом покончено.

— Пятнадцать заказов, — улыбнулся Люк. — Я передумал.

Улыбка его быстро померкла, когда к ним без всякого предупреждения нагрянула беда, неожиданная и, естественно, крайне нежелательная.

Имя ее было Огэстес Блейк, а отправной точкой — само Правительство.

\* \* \*

— Какой позор! — вскрипнул Эфраим. — Ну и попали же мы в переплет — суд, приговор... Лучше б я умер.

Люк воздержался от комментариев. И без того было ясно, что, умри Эфраим по-настоящему, они оба не подверглись бы судебному преследованию по делу, которое возбудил против них Блейк.

— Заговор с целью фальсификации официальных статистических данных, — стонал Эфраим. — Нарушение общественного порядка, вызванное устройством мошеннических похорон. Получение обманным путем дохода от продажи цветов и венков. Инспирация ложных слухов о неэффективности препарата бессмертия, которые повсеместно сеют тревогу и отчаяние. Подрывная деятельность, в результате которой резко ухудшились отношения между Правительством и Ригелианским послом. — Он уставился пустыми глазами на своего компаньона. — Неужели мы действительно все это совершили?

— Так сказал судья.

Сейчас Люка не могли приободрить даже заказы на пятнадцать погребальных церемоний. Он провел по волосам дрожащей рукой.

— Как же он с нами говорил. Каким тоном! Будто мы преступники! Да еще подчеркнул, что делает нам великую милость, заменив тюремное заключение огромным штрафом.

— Если мы его не уплатим, нам не миновать тюрьмы, — заметил Эфраим.

— Сам знаю. — В этот момент по дому разнеслось эхо дверного звонка, и Люк угрюмо сдвинул брови. — Держу



пари, что на нас сейчас свалится новая беда. Или это какой-нибудь наглый молокосос, который поинтересуется, как вы себя чувствуете. Казалось бы, их уже должно мутить от этой дурацкой шутки. Сколько можно!

Он встал и, ворча, пошел открывать дверь. Сидевший за столом Эфраим услышал какое-то невнятное бормотание и приближающиеся шаги нескольких ног. Он поднял взгляд на вернувшегося Люка. Тот был не один. Вместе с ним в комнату вошел ригелианин, высокий, покрытый чешуей гуманоид, с аппаратом звуковидеозаписи, который висел на перекинутом через шею ремне.

«Турист», — с раздражением подумал Эфраим.

— Эфраим, разрешите представить вам Джела Рэнга, — сказал Люк. — А это, мистер Рэнгк, тот самый знаменитый Эфраим Фингл, о котором вы, несомненно, слышали.

— Я присутствовал на вашем в высочайшей степени интересном судебном процессе, — прошипел ригелианин. Говоря, он издавал такие звуки, словно у него вместо голосовых связок был паровой двигатель. — Великолепнейший образец примитивного исполнения правосудия через третейский суд. — Он прикоснулся к висевшему у него на шее ящичку. — Я все сюда записал, чтобы потом смонтировать фильм.

— Очень с вашей стороны любезно, — холодно произнес Эфраим. Он слишком хорошо помнил, что именно ригелианам обязан своим нынешним унижительным положением.

— Невероятно сожалею об упущении возможности запечатлеть погребальную церемонию, в которой причина столь крупных для вас неприятностей, — продолжал ригелианин. — Вот такой фильм стал бы очень, очень ходким товаром для проявляющих любопытство к странным похоронным обрядам, имеющим место на кое-каких планетах. Можно повторить эту церемонию?

— Нет, — сказал Эфраим.

— Надо подумать, — сказал Люк.

— Нет! — упорствовал Эфраим. — Ни за что!

— Хорошо заплачу, — сказал Джел Рэнгк.

Эфраим пересмотрел свою точку зрения.

Стояла поздняя осень, и день выдался холодный. В этот день в Сенте-Форксе (население — 17 106 душ) должно было состояться последнее представление сезона. Эфраим Фингл, необыкновенно элегантный в своем безукоризненном траурном одеянии, критически оглядывал наемных участников процессии, носильщиков, плакальщиков и оркестрантов. В последнюю минуту к нему присоединился Люк. Он лоснился от курортного загара, и от него за версту разило преуспевающим бизнесменом. Кивнув на гроб, Люк поднял брови.

— Что там на этот раз? — быстро спросил он.

— Старые шлепанцы бабушки Хилтон. Она ведь выиграла в лотерею. Шлепанцы она все равно собиралась выбросить, а тут решила, что они заслуживают достойного погребения.

— Шлепанцы так шлепанцы, какая разница. — Люк вдруг

грозно нахмурился. — А ну-ка спрячь свою улыбочку в карман! — набросился он на одного из наемных участников похоронной процессии. — Тебе платят за то, чтобы на твоей роже была скорбь, а не клоунская ухмылка!

Тут оркестр бодро грянул траурный марш из «Саула», и гнев Люка как рукой сняло.

— Им понравился этот марш, — с некоторым смущением пояснил Эфраим.

— Поедем на катафалке?

— А почему нет?

Люк с Эфраимом влезли на катафалк и, когда процессия тронулась с места, изобразили на лицах полное умиротворение. Траурный кортеж свернул на Мэйн-стрит и под деловитое жужжание аппаратов видеозаписи двинулся сквозь строй инопланетных туристов.

**Перевела с английского С. ВАСИЛЬЕВА**

**Рисунки В. ЧИЖИКОВА**

---

**На I и IV стр. обложки — рисунок Г. НОВОЖИЛОВА**

**На II стр. обложки — рисунок Ю. МАКАРОВА к рассказу Артура КЛАРКА «Встреча с медузой».**

**На III стр. обложки — рисунок А. ЧИЖИКОВА к рассказу А. С. ТАББА «Последние из гробовщиков».**

---

**Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, А. В. НИКОНОВ, А. А. НОДИЯ, В. М. ЧИЧКОВ.**

---

**Редакторы выпуска: О. СОКОЛОВ, В. А. РЫБИН  
Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА  
Технический редактор А. БУГРОВА**

---

**Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».**  
**Адрес редакции: Москва, К-30, Сушевская, 21. Тел. 251-15-00.**  
**доб. 4-10.**

---

**Сдано в набор 11/XII 1975 г. Подп. к печ. 30/I 1976 г. А07229.**  
**Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 10,5.**  
**Тираж 200 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 2250.**

---

**Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30,  
Сушевская, 21.**



**Братья ВАЙНЕРЫ — Лекарство против страха**  
**Артур КЛАРК — Встреча с медузой**  
**А. С. ТАББ — Последние из гробовщиков**

Цена 20 коп.

